

НАШИ БЕСКОНЕЧНЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Одновременно
шокирующая
и деликатная...

*Жюри Премии
Десмонда Эллиота*



К Л Э Р Ф У Л Л Е Р

Клэр Фуллер

Наши бесконечные последние дни

Издательство «Синдбад»

2015

Фуллер К.

Наши бесконечные последние дни / К. Фуллер — Издательство «Синдбад», 2015

ISBN 978-5-00131-566-7

Выживальщик Джеймс Хиллкоут готовится к концу света — строит убежище в подвале своего лондонского дома и делает запасы. Однако со временем подвал начинает казаться ему ненадежным, и после размолвки с женой он без ее ведома увозит восьмилетнюю дочь Пегги в заброшенную хижину посреди глухого леса где-то в Германии. Так начинается история их выживания. История последних двух людей на земле, как думает Пегги, — ведь отец убедил ее, что во всем мире больше никого не осталось... Девять лет спустя Пегги возвращается домой, к матери, но попытки выяснить, что произошло в лесу, приводят к новым загадкам.

ISBN 978-5-00131-566-7

© Фуллер К., 2015

© Издательство «Синдбад», 2015

Содержание

1	6
2	8
3	14
4	19
5	25
6	29
7	34
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Клэр Фуллер

Наши бесконечные последние дни

Claire Fuller

Our Endless Numbered Days

Copyright © Claire Fuller, 2015

Russian Edition Copyright © Sindbad Publishers Ltd., 2023

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление.

Издательство «Синдбад», 2023

Все родители лгут.

Но некоторые лгут по-крупному...

1

Хайгейт, Лондон, ноябрь 1985 года

Сегодня утром я нашла в глубине письменного стола черно-белую отцовскую фотографию. Он не выглядел как обманщик. Все остальные фотографии с ним, которые хранились в альбомах на нижней полке книжного шкафа, Уте, моя мать, убрала, а вместо них вставила снимки со всякими родственниками и младенцами. Свадебная фотография в рамке, прежде стоявшая на камине, тоже исчезла.

На обороте ровным почерком Уте было написано: «*James und seine Busenfreunde mit Oliver¹, 1976*». Это последний снимок, на котором запечатлен отец. Он выглядит здесь удивительно молодым и здоровым, лицо гладкое и белое, как речная галька. На фото ему двадцать шесть: на девять лет больше, чем сейчас мне.

Приглядевшись, я увидела, что на снимке не только отец и его друзья, но и Уте, и я сама, в виде расплывшегося пятна. Мы были в этой же самой гостиной. Сейчас рояль передвинули в другой конец комнаты, к стеклянным дверям в стальной раме, которые ведут через оранжерею в сад. А на фотографии он стоит возле трех больших окон, выходящих на подъездную дорогу. Окна открыты, занавески застыли полуволевой под летним ветерком. Когда я увидела отца в прежней обстановке, у меня закружилась голова, как будто под моими босыми ногами поехал паркет, и мне пришлось сесть.

Некоторое время спустя я подошла к роялю и впервые после своего возвращения прикоснулась к нему. Пальцы легко скользили по полированной поверхности. Он был меньше, чем мне помнилось, чуть светлее в тех местах, где за много лет выцвел от солнца. Я подумала, что это, возможно, самая прекрасная вещь, которую я когда-либо видела. Мысль о том, что, пока меня не было, солнце светило, что на рояле играли, что люди жили и дышали, помогла мне успокоиться.

Я взглянула на фотографию, которую все еще держала в руке. Отец сидел у рояля, наклонившись вперед, небрежно вытянув левую руку, а правой перебирая клавиши. Это меня удивило. Я не помнила, чтобы он когда-либо сидел за роялем или играл на нем, хотя, конечно, именно он научил меня играть. Нет, это всегда был инструмент Уте. «Писатель, он берет перо, и слова текут; я касаюсь клавиш, и звучит музыка», – говорит она, по-немецки напряженно произнося гласные.

В тот день, в тот коротенький отрезок времени, отец, с его длинными волосами и худощавым лицом, выглядел непривычно расслабленным и привлекательным, а Уте, в юбке до колен и белой блузке с рукавами как бараньи окорока, устремлялась прочь из кадра, как будто почувствовала, что на кухне сгорел ужин. Она схватила меня за руку, ее лица не видно, но в самой позе чувствуется раздражение от того, что ее застали в нашей компании. Уте – ширококостная и мускулистая – всегда была статной, но за последние девять лет она растолстела, лицо стало шире, чем в моей памяти, а пальцы распухли так, что обручальное кольцо не снимается. По телефону она говорит друзьям, что набрала вес из-за того кошмара, в котором жила много лет: только еда спасала ее. Но по ночам, когда я не могу заснуть и крадусь в темноте вниз, я вижу, как она ест, вижу ее лицо, освещенное лампочкой холодильника. Глядя на эту фотографию, я поняла, что не помню других, где мы были бы втроем.

Сегодня, спустя два месяца после моего возвращения домой, Уте наконец решила оставить меня перед завтраком одну на полчаса, чтобы отвезти Оскара на встречу скаутов. И вот, прислушиваясь одним ухом к звукам из прихожей – не возвращается ли она, – я роюсь в осталь-

¹ Джеймс и его друзья с Оливером (нем.).

ных ящиках стола. Отложила в сторону ручки, почтовую бумагу, неподписанные багажные бирки, каталоги домашней техники и брелоки с европейскими достопримечательностями – Эйфелева башня болтается рядом с Букингемским дворцом. В нижнем ящике я нашла лупу. Присела на ковер, про себя отметив, что на фотографии был другой – когда его успели поменять? – и навела лупу на отца, но с разочарованием обнаружила, что увеличение не дало ничего нового. Он не скрестил пальцы; губы не тронула легкая усмешка; никакой секретной татуировки, не замеченной ранее.

Одного за другим, слева направо, я рассмотрела пятерых мужчин, расположившихся перед ним. Трое втиснулись на кожаный диван, еще один привалился спиной к ручке кресла, закинув руки за голову. Бороды у них лохматые, волосы длинные; ни один не улыбается. Они так похожи, что их можно было бы принять за братьев, но я знала, что это не так. Уверенные, расслабленные, зрелые; словно обретшие второе рождение христиане, они говорили в объектив: «Мы видели будущее – надвигается катастрофа, но мы из тех, кто спасется». Они были членами Общества спасения Северного Лондона. Каждый месяц они собирались у нас в доме, спорили и обсуждали стратегии выживания на случай конца света.

Пятого мужчину, Оливера Ханнингтона, я узнала сразу, хотя не видела его многие годы. Фотокамера запечатлела его развалившимся в кресле, ноги в брюках клеш перекинуты через подлокотник. Он опирается подбородком на руку, в которой держит сигарету, и кольца дыма пробиваются сквозь его золотистые волосы. Как и мой отец, он чисто выбрит, но улыбается так, что становится понятно: все происходящее он считает смехотворным; он будто хотел, чтобы потомки знали, что его несколько не интересуют взгляды группы на самообеспечение и неприкосновенный запас. Он мог бы быть агентом под прикрытием, или журналистом, чьи втайне собранные материалы разоблачат всех этих людей, или писателем, который, придя домой после собрания, превратит их в персонажей юмористического романа. Даже сейчас его волевой подбородок и его самоуверенность казались экзотическими и чужими; американскими.

Затем я поняла: в комнате должен был находиться кто-то еще – фотограф. Я встала там, где мог стоять человек с аппаратом, и, зажав губами уголок фотографии, соединила пальцы так, чтобы получилась прямоугольная рамка. Ракурс оказался совсем не тот; человек определенно был намного выше меня. Я вернула лупу в ящик и, к собственному удивлению, села за рояль. Подняла крышку, замороженная ровным рядом белых, словно отполированные зубы, клавиш – таких гладких и прохладных, – и положила правую руку туда, где лежала рука отца на снимке. Наклонившись влево, я вытянула руку вдоль крышки, и что-то шевельнулось во мне, затрепетало внизу живота. Уставилась на фотографию, которую все еще держала в руке. Встретилась взглядом с отцом, который уже тогда выглядел столь невинным, будто *точно* был виноват. Я вернулась к столу, взяла из подставки для карандашей ножницы и вырезала его лицо. Теперь он превратился в светло-серую мушку на кончике моего пальца. Осторожно, следя за тем, чтобы он не упал и не затерялся под мебелью, а затем в недрах пылесоса Уте, я засунула ножницы под платье и разрежала шелковистую ткань в середине бюстгальтера. Две чашечки, царапавшие меня и порядком надоевшие, распались, и мое тело вновь обрело свободу. Я положила отца под правую грудь – так, чтобы теплая кожа придерживала его, не давая упасть. Я знала: если он останется там, все будет в порядке и я позволю себе вспомнить.

2

Тем летом, когда была сделана фотография, отец переоборудовал наш подвал в спасательный бункер. Не знаю, обсуждал ли он в том июне свои планы с Оливером Ханнингтоном, но они постоянно валялись на солнце в саду, разговаривали, курили и смеялись.

Посреди ночи музыка Уте, меланхолическая и переливистая, медленно заполняла комнаты нашего дома. Я переворачивалась на другой бок, укрытая только простыней, липкая от зноя, и представляла, как Уте сидит с закрытыми глазами за роялем, слегка покачиваясь, очарованная своей мелодией. Иногда я слышала ее еще долго после того, как она закрывала крышку и отправлялась обратно в постель. Отец тоже плохо спал, но ему, я думаю, не давали уснуть списки. Я воображала, как он нащупывает под подушкой блокнот и огрызок карандаша. Не включая свет, он писал: «1. Общий список (3 человека)», – а затем проводил черту и продолжал под ней:

Спички, свечи
Радио, батарейки
Бумага и карандаши
Генератор, динамо-машина, фонарик
Бутылки для воды
Зубная паста
Котелок, кружки
Кастрюли, веревка и бечевка
Нитки и иголки
Кремень и кресало
Наждачка
Туалетная бумага, антисептик
Зубная паста
Ведро с крышкой

Списки выглядели как стихи, хотя уже тогда в почерке отца можно было угадать его позднейшие лихорадочные каракули. Выведенные в темноте, слова налезали одно на другое или тесно прижимались друг к другу, словно вели борьбу за место в его ночной голове. Другие списки сползали со страницы там, где он уснул, не закончив мысль. Списки предназначались для бункера: в них перечислялось все необходимое, чтобы его семья смогла прожить под землей несколько суток или даже недель.

В один из дней, проведенных в саду с Оливером Ханнингтоном, отец решил оборудовать подвал на четверых. Он стал учитывать своего приятеля при расчете ножей и вилок, жестяных кружек, постельных принадлежностей, мыла, еды, даже рулонов туалетной бумаги. Сидя на лестнице, ведущей на второй этаж, я слышала, как на кухне он обсуждал с Уте свои планы.

– Если устраиваешь этот бардак, то устраивай его для нас троих, – причитала она.

Послышался шорох бумаг.

– Мне неприятно, что ты включил Оливера. Он не член семьи.

– Еще один человек ничего не меняет. В любом случае двухъярусные кровати – это четное количество мест, – ответил отец.

Было слышно, как он пишет.

– Я не хочу его там видеть. И не хочу его видеть в нашем доме, – сказала Уте.

Звук карандаша затих.

– Он приколдовал нашу семью – у меня от него букашки.

– Околдовал и мурашки, – сказал отец со смехом.

– Мурашки! Окей, мурашки! – Уте не любила, когда ее поправляли. – Я бы предпочла, чтобы этого человека не было в моем доме.

– Ну конечно, в этом все дело. В твоём доме. – Голос отца стал громче.

– Он куплен на мои деньги.

С лестницы мне было слышно, как по полу заскрежетал стул.

– О да, давайте помолимся во славу денег семьи Бишофф, которые вложены в знаменитую пианистку. И боже мой, мы все должны помнить, как много она работает! – воскликнул отец.

Я представила себе, как он кланяется, сложив ладони.

– По крайней мере, у меня есть работа. А ты что делаешь, Джеймс? Сидишь весь день в саду со своим подозрительным американским приятелем.

– Ничего он не подозрительный.

– С ним явно что-то не так, но ты даже не замечаешь. От него одни неприятности.

Уте протопала из кухни в гостиную. Я тихонько пересела на ступеньку выше, чтобы остаться незамеченной.

– Какой прок будет от игры на фортепиано, когда придет конец света? – крикнул отец ей вслед.

– А какой прок будет от двадцати банок тушенки, а? – рявкнула Уте в ответ.

С деревянным стуком она открыла рояль и двумя руками взяла минорный аккорд. Когда он затих, она крикнула:

– Разве Пегги будет есть тушенку?

Хотя меня никто не видел, я постаралась спрятать усмешку. Потом она играла Седьмую сонату Прокофьева – быстро и яростно. Я представила, что ее пальцы впиваются в клавиши, как птичьи когти.

– Ной начал строить Ковчег, когда дождя еще не было! – вопил отец.

Позже, когда я забралась обратно в кровать, споры и фортепиано стихли, но слышались другие звуки, те, что напоминали о боли, хотя даже в восемь лет я знала, что они означают нечто другое.

Тушенка значилась в одном из списков. Он назывался «5. Еда и т. п.». Под заголовком отец написал: «15 калорий на фунт веса, полгаллона воды в день, полтюбика пасты в месяц», а затем:

14 галлонов воды
10 тюбиков пасты
20 банок растворимого куриного супа
35 банок фасоли
20 банок тушенки
Яичный порошок
Мука
Дрожжи
Соль
Сахар
Кофе
Печень
Джем
Чечевица
Сушеная фасоль
Рис

Продукты в списках бесцельно блуждали, как будто отец играл сам с собой в «Я поехал в магазин и купил себе...». Тушенка напоминала ему о ветчине, от нее мысль перескакивала к яйцам, а оттуда – к блинчикам и муке.

В подвале он залил пол цементом, укрепил стены стальной арматурой и установил аккумуляторы, которые заряжались от велосипеда на подставке, если крутить педали по два часа в день. Он поставил две конфорки, работавшие от баллонов с газом, и сделал ниши для двухъярусных кроватей – с матрасами, подушками, простынями и одеялами. Посреди комнаты стоял белый кухонный стол с четырьмя стульями. Все стены были заняты полками, которые отец заставил продуктами, канистрами с водой, настольными играми и книгами.

Уте отказывалась помогать. Когда я приходила домой из школы, она говорила, что весь день музицировала, «пока твой отец играл у себя в подвале». И жаловалась, что от недостатка практики пальцы у нее плохо двигаются, а кисти болят, и что у нее испортилась осанка из-за того, что ей приходилось постоянно нагибаться, пока она со мной нянчилась. Я не спрашивала, почему она играет чаще, чем раньше. Когда отец с красным лицом и голой блестящей спиной вылезал на кухне из подвала, казалось, он вот-вот в обморок упадет. Он пил воду из-под крана, потом засовывал под него всю голову и тряс волосами, как собака, пытаясь насмешить меня и Уте. Но она лишь закатывала глаза и возвращалась к роялю.

Когда по приглашению отца собрания Общества спасения проходили у нас, мне разрешалось открывать переднюю дверь и провожать полдюжины волосатых и серьезных мужчин в гостиную Уте. Мне нравилось, когда дом наполнялся людьми и разговорами, и, пока меня не отправляли в кровать, я оставалась в комнате, стараясь уследить за обсуждением вероятностей, причин и последствий того, что они называли «чертов Армагеддон». Например, русские сбрасывают ядерную бомбу, и через несколько секунд Лондон стерт с лица земли; или же запасы воды отравлены пестицидами; или рухнет мировая экономика, и голодные мародеры заполняют улицы. Оливер шутил, мол, британцы так отстали от американцев, что, когда разразится бедствие, мы будем еще в пижамах, а они уже давным-давно будут на ногах, защищая свои дома и семьи. Однако отец гордился, что в Англии его группа была одной из первых – возможно, *самой* первой, – где обсуждались вопросы выживания. Уте же очень раздражало, что она не может заниматься на фортепиано, когда далеко за полночь по дому бродят люди, пьют и без конца курят. Отец любил спорить и хорошо знал свой предмет. После нескольких часов возлияний, когда повестка была исчерпана, хорошо организованные дискуссии перерастали в споры и голос отца звучал громче остальных.

Услышав шум, я сбрасывала одеяло и босиком прокрадывалась вниз, поближе к гостиной, откуда плыли запахи разгоряченных тел, виски и сигарет. Как сейчас помню: отец наклоняется и хлопает себя по колену – или с такой силой гасит сигарету, что искры разлетаются из пепельницы, прожигают хрустящие дырки в ковре, опаляют деревянный пол. Затем он встает, сжав кулаки и вытянув руки вдоль тела, как будто пытаясь сдержаться и не заехать кулаком первому, кто осмелится ему перечить.

Никто не ждал, пока другой закончит говорить; это были не дебаты. Подобно словам в отцовских списках, мужчины перекрикивали друг друга, перебивали и осыпали бранью.

– Говорю вам, это будет природный катаклизм: цунами, наводнение, землетрясение. Какой смысл в твоём бункере, Джеймс, если ты и твоя семья будете похоронены заживо?

Стоя в прихожей, я вздрогнула и стиснула кулаки, чтобы не всхлипнуть.

– Наводнение? Нам бы сейчас не помешало чертово наводнение.

– А эти бедняги итальяшки со своим землетрясением! Тысячи трупов!

Эти слова потонули в общем шуме, и говоривший схватился руками за голову. Я подумала, что, возможно, его мать была итальянкой.

– Правительство – вот кто слабое звено. Не ждите, что Каллаган принесет вам стакан воды, когда пересохнет водопровод.

– Его будет слишком беспокоить инфляция, чтобы заметить, что русские взорвали нас к чертям собачьим.

– У моего двоюродного брата есть друг на Би-би-си, так тот говорит, они делают информационные фильмы о том, как организовать убежище в доме. Бомбы точно начнут падать – это лишь вопрос времени.

Мужчина с седеющей бородой сказал:

– Гребаные идиоты, им нечего будет есть, а если и будет, армия все конфискует. В чем тогда гребаный смысл?

В его бороде застряли брызги слюны, и мне пришлось отвернуться.

– Я не собираюсь оставаться в Лондоне, когда начнут падать бомбы. Ты, Джеймс, можешь сидеть в своем бункере, а я лично уеду – куда-нибудь на север, в Шотландию, куда они не доберутся.

– И что ты будешь есть? – спросил отец. – Как ты продержишься? Как доберешься туда, если все дороги будут забиты такими же идиотами, бегущими из города? Транспортный коллапс. А если ты и выберешься из города, то остальные, включая твою маму и ее кошку, отправятся за тобой. И он еще называет себя выживальщиком! Закон и порядок быстрее всего восстановятся в городах. А не в твоей коммуне в Северном Уэльсе.

Стоя за дверью, я испытывала необычайную гордость за отца.

– Все твои неприкосновенные запасы в подвале – всего лишь запасы, – сказал другой. – Что ты будешь делать, когда они закончатся? У тебя даже пневматики нет.

– Ерунда. Дайте мне хороший нож и топор, и мы не пропадем, – ответил отец.

Англичане продолжали препираться, пока их не прервал голос американца:

– Знаешь, в чем твоя беда, Джеймс? Ты типичный британец. И вы все тоже. Живете в средневековье, прячетесь в катакомбах, уезжаете за город, как будто на гребаный воскресный пикник. Называете себя обществом спасения, а миру на вас наплевать. Да вы даже не понимаете, что значит быть выживальщиком! Джеймс, забудь про подвал. Надежное прибежище – вот что тебе нужно.

Говорил он с нажимом, уверенный, что его будут слушать. Все мужчины, включая отца, затихли. Оливер Ханнингтон развалился в кресле, спиной ко мне, остальные уставились в окно или в пол. Это напоминало школу, когда мистер Хардинг говорил, а никто его не понимал. Тогда он несколько минут стоял и ждал, пока кто-нибудь не поднимет руку и не спросит, что он имеет в виду. Тишина становилась все невыносимее, так что мы уже не могли смотреть ни друг на друга, ни на него. Эта тактика была разработана специально для того, чтобы увидеть, кто первый сломается, и в девяти случаях из десяти таким человеком оказывалась Бекки. Она выдавала какую-нибудь глупость, и все начинали смеяться от облегчения и неловкости, а мистер Хардинг улыбался.

Внезапно из кухни появилась Уте; она шла своей походкой «на публику», подчеркивавшей ее бедра и талию. Она убрала волосы в небрежный узел и надела свой любимый восточный халат, струившийся по ее мускулистым ногам. Все мужчины, включая отца и Оливера Ханнингтона, понимали, что она могла бы пойти другим путем, через прихожую. Никто не называл Уте красивой – обычно использовали слова «поражительная», «завораживающая», «неповторимая». Но поскольку она была женщиной, с которой приходилось считаться, мужчины притихли. Стоявшие присели, а сидевшие на диване выпрямились; даже Оливер Ханнингтон обернулся. Все сразу стали подставлять ладони под тлеющие сигареты и оглядываться в поисках пепельницы. Уте вздохнула: быстрый вдох, расширение грудной клетки и медленный выдох. Всем своим видом выражая негодование, она прошла мимо мужчин и присела передо мной на корточки. Отец и его приятели обернулись и только тогда заметили меня.

– Разбудили мою малышку своей болтовней о катастрофах, – сказала Уте, глядя меня по голове.

Уже тогда я понимала: она ведет себя так потому, что на нее смотрят. Она взяла меня за руку, чтобы отвести наверх. Но я отпрянула, так как хотела услышать, кто нарушит молчание.

– Все будет хорошо, *Liebchen*², не волнуйся, – ворковала Уте.

– Ну и что же это такое – надежное прибежище? – отец сдался первым.

Последовала пауза. Оливер Ханнингтон знал, что все мы ждем от него ответа.

– Собственный домик в лесу, – сказал он и рассмеялся, хотя я ничего смешного в этом не увидела.

– И как нам такой найти? – спросил кто-то из сидевших на диване.

Тут Оливер Ханнингтон повернулся ко мне, приложил палец к губам и подмигнул. Залившись румянцем от его внимания, я позволила Уте увести меня наверх, в кровать.

Когда оснащение бункера приблизилось к финальной стадии, отец начал меня тренировать. Для него это началось как игра – чтобы покрасоваться перед приятелем. Он купил себе серебристый свисток, который повесил на шею, а мне – холщовый рюкзак с пряжками и кожаными ремешками. На боковых карманах были вышиты голубые цветочки и зеленые листья.

Сигналом служили три коротких свистка от подножия лестницы. Уте и в этом не хотела участвовать; она либо оставалась в кровати, спрятав голову под одеяло, либо играла на рояле, полностью открыв верхнюю крышку, чтобы звуки заполняли весь дом. Свистки, которые могли раздаться в любой момент до отхода ко сну, были командой укладывать рюкзак. Я носилась по дому, собирая вещи по списку, который отец заставил меня выучить наизусть. Надев рюкзак, я сбегала по ступенькам под грозный «Революционный» этюд Шопена. Отец стоял, глядя перед собой, – свисток во рту, руки за спиной, – пока я с болтающимся сзади рюкзаком обегала нижнюю стойку лестницы. Ступеньки в подвал я преодолевала через одну, перепрыгивая через последние три. Я знала, что внизу у меня есть четыре минуты, чтобы распаковаться, прежде чем отец снова даст сигнал. Стоя спиной к лестнице, я отодвигала стул от стола, доставала из рюкзака одежду: нижнее белье, джинсовый комбинезон, штаны, льняные футболки, джемпер, шорты, пижаму – и аккуратной стопкой выкладывала все это на стол. Рука ныряла в рюкзак за следующей вещью, словно за призом в ярмарочной лотерее. Расческа – горизонтально, на пижаме; раздвижная подзорная труба – слева; зубная паста и щетка – бок о бок, поверх стопки одежды; и, наконец, моя кукла Филлис, с нарисованными глазами и в матросском костюмчике, – сбоку. В завершение всего я вытаскивала синий шерстяной шлем и натягивала его на голову. Несмотря на жару, мне следовало также надеть идущие в комплекте со шлемом варежки, а потом, когда все было идеально разложено на столе, а рюкзак пуст, тихо сидеть, положив руки на колени и глядя прямо перед собой на газовую плиту. Снова раздавался свисток, и меня охватывало нервное возбуждение, пока отец спускался для осмотра. Иногда он поправлял расческу или перекладывал Филлис на другую сторону.

– Очень хорошо, очень хорошо, – говорил он, как будто на военном смотре. – Вольно!

Он подмигивал мне, и я понимала, что справилась.

На последнюю нашу с отцом тренировку в качестве зрителей были приглашены Уте и Оливер Ханнингтон. Уте, естественно, отказалась. Она считала это бессмысленным ребячеством. А вот Оливер Ханнингтон пришел; прислонившись к стене, он стоял рядом с отцом, когда тот дал три первых свистка. Уте в гостиной играла «Траурный» марш Шопена. Вначале дело шло хорошо. Я все собрала и спустилась по обеим лестницам вдвое быстрее обычного, но то ли я запуталась, когда раскладывала вещи на столе, то ли отец от волнения свистнул во второй раз слишком рано... Время вышло, но, когда мужчины спустились в подвал, варежки

² Дорогая (нем.).

еще не были надеты. Тяжело дыша, я засунула их под себя. Они кололи ноги ниже шортов. Я подвела отца. Я все делала слишком медленно. Варежки намокли. Теплые струйки стекали со стула, и на белом линолеуме подо мной образовалась лужица. Отец кричал. Оливер Ханнингтон стоял возле меня и смеялся, а я редела.

Уте ринулась вниз и подхватила меня на руки, чтобы унести от «этих совершенно ужасных мужчин»; я прятала лицо, уткнувшись ей в плечо. Как будто прерванные заключительными титрами в фильме, мои воспоминания об этом эпизоде заканчиваются на моменте спасения.

Я не могу вспомнить, как Оливер Ханнингтон, с безразличным видом опиравшийся о полки, ухмыльнулся, когда я обмочилась, – но уверена, что так оно и было. Я представляла, хотя и не видела этого на самом деле, как он вынимает изо рта сигарету и выпускает дым вверх, и как дым ползет по низкому потолку. И я не заметила, как покраснел отец – из-за того, что я подвела его на глазах у друга.

3

В конце июня Уте вернулась к работе. Может быть, ей надоело сидеть дома, а может быть, она нуждалась в более внимательной аудитории – не знаю; но точно не из-за денег. «Мир ждет меня», – любила говорить она. И, вероятно, была права. Уте была концертирующей пианисткой – не из тех второсортных музыкантов, которые играют с третьесортными оркестрами, нет, в восемнадцать лет Уте Бишофф стала самой молодой за всю историю победительницей Международного конкурса пианистов имени Шопена.

В дождливые дни я любила сидеть на полу в столовой и доставать из серванта пластинки с ее записями. Мне никогда не приходило в голову их послушать, вместо этого я снова и снова крутила пластинку «Дети железной дороги», пока не выучила ее наизусть; и в то время как Филлис беспокоилась о мальчике в красном свитере, я внимательно рассматривала бумажные конверты: Уте сидит за роялем, Уте раскланивается на сцене, Уте в вечернем платье и с незнакомой улыбкой.

В 1962 году она играла с дирижером Леонардом Бернштейном на открытии Нью-Йоркской филармонии.

– Леонард был *ein Liebchen*, – говорила она. – Он поцеловал сначала меня, а уже *потом* Жаклин Кеннеди.

Уте восхваляли и превозносили, она была молодой и привлекательной. В двадцать пять лет, на гастролях в Англии, она познакомилась с моим отцом. Он переворачивал ей страницы во время выступления. Он был на восемь лет ее моложе.

Для нас троих эта встреча стала одной из тех историй, которые есть у любой семьи, – их часто повторяют и периодически приукрашивают. Отец вообще не должен был присутствовать на концерте. Он подменял кого-то, проверяя билеты на входе, когда ассистент Уте зашпунлся за кулисами о трос и расквасил нос о противовес. Отец, который никогда не был брезгливым, оттирал тряпкой кровь с пола, когда помощник режиссера потянул его за рукав и с отчаянием в голосе спросил, умеет ли он читать ноты с листа.

– Я признался, что умею, – рассказывал отец.

– В этом-то и была сложность, – объясняла Уте. – Мои ассистенты должны всегда следить за мной, а не за нотами. «Смотри, когда я кивну», – сказала я.

– Я не мог на тебя смотреть, я тебя боялся.

– Глупый мальчишка, он переворачивал страницы слишком быстро, а потом вообще перелистнул сразу две, – улыбаясь, вспоминала Уте. – Это была катастрофа.

– Я написал тебе записку с извинениями.

– А ты пригласила его в примерную, – вставляла я.

– А я пригласила его в примерную, – повторяла Уте.

– И она преподала мне урок по перелистыванию нот, – говорил отец, и они с Уте хохотали.

– Такой милый сообразительный мальчик, – говорила она, взяв его лицо в ладони. – Как могла я не влюбиться?

Но так было в мои пять или шесть лет. А когда мне было восемь, то на мою просьбу рассказать историю Уте отмахнулась: «Да ну, неужели тебе хочется снова слушать эту скучищу».

Для публики и критиков ее роман с Джеймсом стал скандалом. Уте была на вершине успеха и отказалась от всего из-за любви к семнадцатилетнему мальчишке. Они поженились через год, как только он достиг совершеннолетия.

Оливер Ханнингтон уехал в тот же день, когда был закончен бункер; а когда я вернулась из школы, оказалось, что Уте тоже уехала – на гастроли по Германии, даже не предупредив меня. Я обнаружила отца лежащим на диване, уставившимся в потолок невидящим взглядом.

На ужин я поела хлопьев и до ночи смотрела телевизор, пока у меня все не поплыло перед глазами.

На следующее утро отец вошел ко мне в комнату, когда я была еще в постели, и сказал, что сегодня не надо идти в школу.

– Уроки-шмурики.

Он смеялся чересчур громко, и я знала, что он притворяется довольным ради меня. Мы оба хотели, чтобы Уте была дома, чтобы она пыхла над раковиной, полной посуды, тяжело вздыхая заправляла постели и даже нарочно громко стучала по клавишам, – но ни один из нас не признался бы в этом другому.

– Какой смысл сидеть в школе, когда сияет солнце и можно столькому научиться дома? – сказал он.

Он ничего не объяснил, но я поняла, что ему не хочется оставаться одному. В дальнем конце сада, где выгоревшую под солнцем лужайку сменяли кустарник и обвитые плющом деревья, мы поставили треугольную двухместную палатку. Вечером нам пришлось забираться в нее вперед ногами, а к утру растяжки ослабли, так что верхний гребень болтался в нескольких дюймах над нами.

Наш дом – большой и белый, словно океанский лайнер, – одиноко стоял на пригорке. От него полого спускался сад, устроенный задолго до того, как наша семья сюда переехала; никто из родителей о нем не заботился, и постепенно границы между некогда отдельными частями сада исчезли. Рядом с домом, на кирпичной террасе, стояли длинные качели. Кирпичи разрушались под натиском мха и ползучего тимьяна, осыпаясь на лужайку, так что уже невозможно было определить, где кончается терраса и начинается трава. В то солнечное лето мы вытоптали всю лужайку, жалкие травинки оставались только по краям. Отец начертил на бумаге план огорода, высчитывая расстояние между грядками морковки и фасоли и угол падения солнечных лучей в разное время дня. Он сказал, что в детстве выращивал редиску, пряную, размером с большой палец, и хотел научить этому меня. Но дальше выбора подходящего участка дело не пошло: он все время отвлекался и ни разу даже лопату в землю не воткнул.

В нижней части сада росли кустики щавеля и одуванчики – семена срывались с их пушистых головок при малейшем дуновении ветерка. Главенствовала над всеми растениями дикая ежевика; высланные ею колючие передовые отряды, каждый с сотнями плотно упакованных ягод, пронзали воздух. А между тем под разбросанными по саду цветочными клумбами пробирались тайные агенты этого коварного растения, и новые побеги без цветов прорастали у самой террасы. Восьмилетнему ребенку дальний конец сада казался диким и заманчивым, потому что за его беспорядочной живой изгородью начиналось кладбище. Пахучие заросли уступали место величавым деревьям, до самых крон укутанным ветвящимся плющом. Мы с отцом пробирались сквозь крапиву, поднимая руки над головой, чтобы не обжечься. Под деревьями струился мягкий свет и воздух всегда был прохладным.

Узкие тропки вели к заброшенному кладбищу, где нас встречали сладким ароматом кусты бузины и пригревшиеся на солнце заросли шнитки, а еще дерево – как будто специально созданное для того, чтобы на него взбираться. Я могла сама встать на нижний сук, а дальше отец помогал мне добраться до развилки, откуда ветви, каждая толщиной с отца, поднимались вверх и затем расходились в стороны. Оседлав одну из них, мы продвигались вперед – сначала я, за мной отец, – пока наконец сквозь восковые листья не становились видны надгробья. Отец говорил, что это дерево называется Великолепным Деревом.

Кладбище было закрыто для посещений – год назад так решил муниципалитет из-за нехватки средств. Мы были наедине с лисами и совами; ни зевак, ни скорбящих – и мы стали их выдумывать. Например, появлялись турист в гавайской рубашке и его громкоголосая жена.

– Ой, надо же! – Отец изображал американский фальцет. – Взгляни на этого ангела, просто прелесть!

Однажды мы болтали ногами, а под нами шла похоронная процессия.

– Ш-ш-ш, вдова идет, – прошептал отец. – Сморкается в шелковый платок. Какая трагедия, в таком юном возрасте потерять мужа.

– А следом идут злобные близняшки, – вступила я, – в одинаковых черных платьях.

– А вот и гадкий племянничек – вон тот, у которого в усах яичница. Ему только подавай дядюшкины деньги, – потер руки отец.

– Вдова бросает на гроб цветок.

– Незабудку, – добавил он. – Сзади подкрадывается дядюшка – осторожно! Она сейчас упадет в могилу!

Он обхватил меня, как будто собираясь столкнуть с ветки. Я завизжала, и мой голос зазвенел среди каменных надгробий и усыпальниц.

В то время, когда я должна была бы ходить в школу, сад стал нашим домом, а кладбище – садом. Изредка я вспоминала о своей лучшей подруге, Бекки, и пыталась представить, чем она может сейчас заниматься в классе. Иногда мы возвращались домой – «добыть припасов», а по средам еще и посмотреть по телевизору «Выживших». Мы и не думали помыться или переодеться. Единственное правило – чистить зубы утром и вечером, для этого мы приносили к палатке ведро воды.

– На земле четыре миллиарда людей, а зубными щетками пользуется меньше чем три миллиарда, – говорил отец, качая головой.

Солнце сияло вовсю, и мы днями напролет занимались охотой и собирательством. Пока я разбиралась в том, что из плодов и растений Северного Лондона пригодно в пищу, спина и плечи у меня обгорели, кожа покрылась волдырями, облезла и стала коричневой.

Отец учил меня ловить и готовить белок и кроликов; объяснял, какие грибы ядовитые и где собирать съедобные – молодые трутовики, лисички, боровики; как варить суп из черемши. Мы рвали крапиву и сушили ее на солнце, а затем, сидя на могильной плите, я смотрела, как отец снимает шкурку со стебля и сплетает из нее тонкую веревку. Я все повторяла за ним, потому что он говорил, что лучший способ научиться – это делать самому, но, хотя пальцы у меня были маленькие, веревки получались грубые и лохматые. Тем не менее мы сделали из них петлю, привязали ее к оглобленной ветке, а ветку прислонили к дереву.

– Белка – ленивое создание, – говорил отец. – Кто такая белка?

– Ленивое создание, – отвечала я.

– Она всегда идет по пути наименьшего сопротивления, – продолжал он. – Что она делает?

– Идет по пути наименьшего сопротивления.

– А что это значит?

Он ждал, но ответа не последовало.

– Это значит, что она радостно побежит по ветке, и ее глупая башка застрянет в петле, – сказал он. – Она радостно побежит по ветке, даже если на ней будут болтаться ее мертвые подруги, и все равно засунет голову в петлю.

Когда мы на следующий день вернулись к ловушке, два трупика болтались на ветке, раскачиваясь взад-вперед под собственным весом. Я собралась с духом и не отвернулась. Отец отвязал петли и положил их в карман, «до следующего раза». Тем вечером он попытался показать мне, как снимать с белки шкуру, но только он поднес нож к голове первой из них, я сказала, что у нас маловато хвороста и я пойду соберу немного. Освежеванных белок отец насадил на заостренную палку, мы поджарили их на костре и ели с черемшой и вареными корнями лопуха. Но я только чуть-чуть поковыряла свою порцию – уж очень белка была похожа на того живого зверька, которым она еще недавно была, и по вкусу напоминала курицу, которую слишком давно вынули из холодильника.

Про сад мы совсем не думали. Нас интересовала только следующая еда – как ее найти, убить и приготовить. И хотя я предпочла бы сладкие хлопья с топленным молоком перед телевизором, я безоговорочно пустилась в это приключение.

Садовой лопаткой отец выковырял несколько камней из альпийской горки и на утоптанной земле неподалеку от палатки устроил место для костра. Обвязав веревки вокруг плеч, мы притащили с кладбища половину упавшего дерева, чтобы было на чем сидеть. Взять стулья из дома было бы против правил. В пыльной клумбе мы выкопали неглубокую яму для захоронения костей и шкурок от съеденных животных. Отец показал, как сделать трут из рубашки, которую он велел мне взять из его шкафа. Этого отцовские правила не запрещали. Я принесла рубашку прямо на металлических плечиках, и отец разрезал ее ножом на полоски. Он сказал, что если бы неподалеку была река, то из плечиков получились бы отличные крючки и мы могли бы есть на ужин копченую форель. Каждый вечер я разжигала костер при помощи кремня и кресала, которые отец всегда носил с собой. Сначала от нескольких искр загорался трут, а от него – заранее собранный хворост.

– Никогда не трать спичку, если можно обойтись огнем, – говорил отец.

Поев и почистив зубы, мы сидели на бревне перед костром, и отец рассказывал мне, как ловить животных и выживать в дикой природе.

– Давным-давно в месте под названием Гэмпшир, – сказал он, – жила-была семья; они жили в *Hütte*³. Все необходимое брали от земли, и никто не указывал им, что делать.

– Что такое *лютте*? – спросила я.

– Волшебное тайное место в лесу, – отвечал отец с придыханием. – Наш собственный домик, с деревянными стенами, деревянным полом, деревянными ставнями на окнах.

Его голос, глубокий и плавный, убаюкивал меня.

– Там круглый год можно собирать сладкие ягоды, под деревьями раскинулся настоящий рыжий ковер из лисичек, а в текущей по долине *Fluss*⁴ полно серебристой рыбы: если проголодаешься и захочешь поужинать, стоит только опустить руку в воду, и поймешь сразу три рыбины.

Я прижалась к нему, и он добавил:

– По одной на каждого. Тебе, мне и *Mutti*⁵.

– А она любит рыбу?

– Думаю, да. Скоро сама ее спросишь.

– Когда она вернется из Германии...

Я уже почти спала.

– Ровно через две недели и три дня.

В его голосе слышалась радость.

– Это ведь уже скоро?

– Да, уже скоро *Mutti* будет с нами.

– Расскажи еще про *лютте*, папа.

Мне не хотелось прекращать разговор.

– Там есть печка, чтобы не мерзнуть в долгие зимние ночи, и фортепиано для *Mutti*.

– Мы сможем поехать туда, папа? – Я зевнула.

– Возможно, – сказал он, и я закрыла глаза.

Он отнес меня в палатку и бережно уложил. Я была вся коричневая от загара и грязи, но с почищенными зубами.

– А как мы туда доберемся?

³ Хижина (нем.).

⁴ Речка (нем.).

⁵ Мамочка (нем.).

– Не знаю, Пегги. Я что-нибудь придумаю, – сказал он.

4

Когда на следующее утро мы возвращались с кладбища со связкой белок и корзиной шнитки, Оливер Ханнингтон сидел возле дома на качелях. Солнце освещало его сзади, и лицо было в тени. Он раскачивался взад и вперед, пытаясь выпустить сигаретный дым через дырку в навесе, которую я сделала две недели назад, отбиваясь на террасе-палубе от пиратов. Когда ему это удалось, в небо поднялось серое облачко – как от индейского костра, предупреждающего об опасности.

– Привет, – сказал Оливер, все еще глядя вверх.

На коленях у него лежала черно-белая брошюрка, и я разглядела, хоть и вверх ногами, нарисованного мужчину в теплом жилете и с молотком. Наверху страницы стояло слово «Выживший». Выдохнув дым, Оливер посмотрел на нас.

– Господи Иисусе... – произнес он вдвое медленнее, чем обычно поют в церкви на Рождество.

И тут я внезапно осознала, какая грязная на мне одежда, и голова немытая, а взглянув на отца, поняла, что за это время у него отросла борода.

– Да мы тут по лесу побродили... Пегги хотелось узнать, каково это – спать под открытым небом, – сказал отец. – Но я как раз подумал, не пора ли нам помыться.

Он отдал мне белок, связанных друг с другом хвостами, и уселся рядом с Оливером, который немного отодвинулся.

– Господи Иисусе, – повторил Оливер. – Да уж, ванна бы вам не помешала. Что это у тебя там, малышка?

Он улыбнулся, продемонстрировав ровные белые зубы, и поманил меня, чтобы заглянуть в корзину.

– Славно. Шпинат, выращенный мертвецами. – Он засмеялся.

Не могу объяснить почему, но уже тогда я знала, что Оливер Ханнингтон опасен.

– Отнеси белок в лагерь, Пегги, а потом ступай в дом и вымойся, – сказал отец.

Впервые за последние две недели он мне приказывал. Я отнесла белок к дымящемуся костру, бросила их на землю и потащилась обратно. Отец и Оливер раскачивались на качелях и смеялись. Отец взял сигарету из пачки, протянутой Оливером, и, чиркнув спичкой, прикурил. От злости у меня перехватило дыхание.

– Папа, зачем ты куришь? – сказала я, встав перед ними.

– Папа, – с британским акцентом пропищал Оливер, – зачем ты куришь...

Он рассмеялся и выпустил дым через нос, как дракон.

– Ступай мыться, – сказал отец нахмурившись.

Зайдя в ванную, я вставила затычку и вслух произнесла: «Миссис Вайни, принесите мне горячей воды»⁶.

Без ответа Уте, без ее усталого смеха фраза прозвучала жалко и беспомощно. Я посидела на краю ванны, пока она наполнялась, а потом заплакала. С головой уйдя под воду, я слышала только гул собственной крови. Я не понимала, почему отец повел себя «как взрослый», когда мы вернулись в сад, но это было так, и это как-то было связано с Оливером. Вынырнув, я представила, что приятель отца падает с качелей, ударяется затылком о камень и кровь впитывается в землю; или я готовлю ему рагу из белок и говорю, что это курица. Он жадно ест, косточка застревает у него в горле, и он умирает от удушья. Впервые после отъезда Уте мне захотелось, чтобы она была здесь. Чтобы сидела на бортике ванны и сетовала, что я слишком долго купаюсь. Я бы упрашивала ее изобразить маму из «Детей железной дороги», и она бы

⁶ *Эдит Несбит. Дети железной дороги. Перевод А. Шараповой.*

наконец согласилась и сказала: «Прошу вас, никогда ничего больше не просите у посторонних людей. Никогда! Запомните: никогда», – а я бы рассмеялась, потому что с ее немецким акцентом это звучит ужасно смешно. Я вымылась, вытащила затычку, но мыльные разводы убирать не стала. У себя в комнате я оделась и выглянула из окна, выходящего на оранжерею.

Мне были видны отцовские колени и икры, коричневые и волосатые; он держал ноги вместе, упиравшись башмаками в пыльную землю. Оливер сидел на другом краю качелей, его ноги в джинсах были широко расставлены – мужчины часто так сидят. Пока я смотрела, отец тоже расставил ноги.

– Я все! – крикнула я с таким негодованием, что отец не мог этого не заметить.

Оливер встал и потянулся.

– Мне бы тоже не помешал душ. В этой стране чертовски жарко. И почему англичане до сих пор используют только ванны?

Он оттянул ворот рубашки, и я заметила светлые волосы на его смуглой груди.

– Чур, я первый! – крикнул отец, оттеснил Оливера и понесся через двор к дому.

Оливер издал радостный вопль, швырнул сигарету в клумбу и погнался за отцом. Я видела, как они пробежали через оранжерею, слышала, как ввалились в гостиную и с хохотом и проклятиями помчались по лестнице. Я стояла в дверях своей комнаты, когда они, спотыкаясь, пронеслись мимо. Оливер схватил отца, перепрыгнул через него, забежал в ванную и запер за собой дверь. Отец зашел ко мне, тяжело дыша и улыбаясь. Он присел на край кровати.

– Здорово будет поспать на нормальной кровати с простынями, да, Пегги?

Я пожала плечами.

– Да ладно, с Оливером будет весело. Вот увидишь.

Он толкнул меня локтем, пощекотал, а потом взял подушку и так дал мне по голове, что я с хохотом повалилась навзничь. Я схватила другую подушку – но он уже встал и вышел из комнаты. Я услышала, как он барабанит в дверь ванной.

– Поторопись там! – крикнул он Оливеру и пошел к себе.

Я снова легла на спину и положила подушку себе на лицо: стало так тихо, словно в доме никого не было, словно в одно мгновение исчезли вообще все люди. Я представила, как усики ежевики продолжают свою разведку в верхней части сада, дотягиваются до дома, по-пластунски проползают под двери. Плющ, устилающий стены, пробирается внутрь и зеленой россыпью покрывает потолки. А лавр, который растет перед домом, запускает свои длинные цепкие пальцы-корни в гостиную, выламывая доски паркета. Мне хотелось уснуть в этой зеленой колыбели и не просыпаться сто лет.

Под подушкой было трудно дышать, поэтому я отбросила ее, спустилась и вышла во двор. Оливер оставил брошюрку на качелях. Я взяла ее и пошла в нижнюю часть сада, где все еще дымился костер. Прижав бумагу к угольку, я слегка подула на нее, чтобы занялся огонь, а затем положила страницы так, чтобы пламя лизало их снизу, пока не остались лишь черные хлопья. Я посмотрела на белок. Они так и лежали там, где я их оставила, возле костра. Будто маленькие человечки грелись рядышком на солнце – лежа на спине, белыми животиками вверх. Я толкнула их ногой и подумала, что до ужина еще далеко.

После появления Оливера мы совсем забросили лагерь. Без обсуждений вернулись в дом. Делали тосты из белого хлеба – отец покупал его вместе с сигаретами для Оливера в магазинчике на углу – или разогревали консервированный мясной пирог с горошком, который брали с полки в бункере. С каждым днем оставленная в саду палатка все больше оседала и выцветала на солнце, а земля вокруг нее высыхала и покрывалась тонкими трещинами.

На третий день после приезда Оливера раздался звонок в дверь. В это время я ложкой ела сахарные хлопья на кухне и следила за двумя мухами, кружащими в вязком горячем воздухе. Каждый раз, когда их траектории пересекались, мухи раздраженно жужжали друг на друга.

Ноги у меня прилипли к стулу, и поэтому Оливер, голый, если не считать оранжевого полотенца на бедрах, успел к двери раньше. Я выползла в прихожую, пытаясь рассмотреть гостя.

– Привет! – Оливер произнес это так, что мне стало еще любопытнее, кто же это стоит за ним на пороге.

– Ой, – сказал пришедший. – Здравствуйте.

Голос был женский и неуверенный.

– А Пегги дома?

– Заходи, – сказал Оливер, развернулся и крикнул: – Пегги!

Я увидела на пороге Бекки в тот же момент, как Оливер увидел меня возле кухни.

– К тебе пришли, – сообщил он мне. – Проходи, проходи, – сказал он Бекки.

Он придержал дверь, и она протиснулась мимо него, улыбаясь и широко раскрыв глаза, но глядя на что угодно, только не на полуголого незнакомца, оказавшегося в доме ее подруги. Оливер проводил ее в кухню и подошел к раковине.

– Хотите пить, девочки?

Он налил себе стакан воды, а мы стояли и смотрели, как подпрыгивает его кадык, пока он пьет. Он снова наполнил стакан и протянул его нам, но Бекки, освободившись от чар, схватила меня за руку и потащила назад в прихожую, а оттуда наверх, в мою комнату.

– Кто это? – спросила она, усаживаясь на кровать.

– Да просто приятель отца, Оливер Ханнингтон. – Я высунула голову в окно, пытаясь вдохнуть более прохладного воздуха. – Поживет у нас какое-то время.

– Похож на Хатча.

– Какого еще Хатча?

– Ну того, блондина из «Старски и Хатч».

Она сбросила туфли и, приподняв руками попу, стала делать в воздухе «велосипед». Школьная форма задралась до талии, открыв голубые трусы. Даже смотреть на нее было жарко.

– Ты где пропадала? Тебе придется кучу всего сделать, чтобы догнать.

– В смысле? Я была здесь.

– Мистер Хардинг постоянно спрашивает меня, где ты. Мы проходили прямые углы. Я сказала, что не знаю, может, ты приболела. Ты приболела?

– Да нет, – ответила я.

Слышно было, как из сада Оливер кричит что-то про лед. Бекки проползла по кровати, опустила руки на ковер и потянулась вперед, так что ноги безвольно шлепнулись на пол. Пригнувшись, мы наблюдали из окна, как Оливер читает, вытянувшись во весь рост на качелях. Книжку он сложил так, чтобы держать ее одной рукой. Полотенце сменил на шорты.

– В общем, завтра тебе лучше прийти, – сказала Бекки. – Завтра последний день занятий.

В саду появился отец с двумя стаканами какого-то оранжевого напитка. Он вручил один Оливеру, и они чокнулись.

– Я принесу «Ослика Бакару», – сказала Бекки.

Утром я надела серую юбку, белую рубашку и школьный пиджак, собрала ланч и отправилась в школу. Когда я пришла, все уже сидели на своих местах. Мистер Хардинг пристально смотрел на меня поверх очков, пока я садилась, но ничего не сказал.

– Ты какую игру принесла? – прошептала Бекки.

– «Соломинки и шарики», – сказала я.

Бекки одобрительно кивнула.

Похоже, мистер Хардинг успел сделать отметку в журнале, потому что, когда мы начали раскладывать игры, пришла школьный секретарь миссис Кэсс и сообщила, что со мной хочет поговорить директор. Это было ожидаемо, и вдобавок я, к своему стыду, обнаружила, что в моей игре не хватает соломинок.

– Итак, Пегги Хиллкоут, где же ты пропадала? – спросила миссис Кэсс, ведя меня по коридору, пропахшему потом и резиновой обувью. Она не стала дожидаться ответа: – Я звонила вам по меньшей мере четырежды за последние две недели, но никто не ответил, ни ты, ни твоя мама. Я даже один раз заехала к вам домой, хотя мне совсем не по пути.

Мы повернули за угол. Запах стал слабее, а линолеум сменился тонким ковровым покрытием – явный признак близкого начальства.

– Нельзя просто взять и устроить себе каникулы. Тебя ждут большие неприятности, юная леди.

Она велела мне сесть в одно из уютных кресел возле кабинета директора. По его обивке расплзлись многочисленные разводы – не иначе, следы слез несчастных учеников и учителей. Сквозь матовое стекло я видела, что директор пьет чай, заставляя меня ждать.

– Как я узнал от мистера Хардинга, тебя не было две недели, и твоя мама не предупредила школу, – сказал директор, когда меня наконец пустили в кабинет.

– Она умерла, – неожиданно для себя ответила я.

– Твоя мама умерла?

Его брови взлетели вверх и тут же опустились, так что он выглядел одновременно удивленным и удрученным. Он нажал на кнопку у себя на столе, и в кабинете напротив раздался звонок.

– Она погибла в автомобильной аварии в Германии, – сообщила я ему и миссис Кэсс, когда та вернулась, вызванная звонком.

– Боже мой! – воскликнула миссис Кэсс и прикрыла рот рукой. – Только не Уте, только не Уте.

Она огляделась вокруг, как будто хотела сесть, но передумала и вместо этого произнесла:

– Бедная, бедная малышка.

Она прижала меня к своей мягкой груди, затем отвела обратно к креслу в коридоре и принесла крепкого сладкого чая в чашке с блюдцем, как будто это не она, а я только что узнала об аварии.

Через дверь я услышала, как директор говорит:

– Уверен, мы бы узнали об этом. Это ведь та самая знаменитая пианистка?

Ответа миссис Кэсс нельзя было расслышать, но он сопровождался многочисленными вздохами, покачиванием головы и заламыванием рук.

Когда я выпила чай, она положила руку мне на плечо и проводила меня в класс, поддерживая и подталкивая одновременно. Там она отвела мистера Хардинга в сторонку и они шепотом обменялись несколькими фразами; его скупающее лицо сначала выразило изумление, а затем, когда он взглянул на меня, стоявшую у двери, сморщилось от сочувствия.

С первой парты Бекки одними губами спросила: «Что ты им сказала?» – и я попыталась беззвучно ответить: «Я сказала, что она погибла в аварии», но слово «авария» было трудно понять без звука. Роза Чапмен наклонилась к Бекки, и та шепотом перевела: «Анна погибла в амбаре». Другие ребята, склонившиеся над шариками, фишками и игральными кубиками, постепенно подключались к игре в испорченный телефон. Мистер Хардинг объявил, что мне можно идти; я собрала шарики и соломинки в коробку и ушла.

На следующей неделе я редко видела отца и Оливера. Однажды они отправились в город, купили там жареной рыбы с картошкой, дома накрыли на стол и сели ужинать. Оливер выбрал ножи и вилки с ручками из слоновой кости, а для дешевого красного вина, купленного в соседнем магазинчике, достал из серванта любимые бокалы Уте.

– *Prost!*⁷ Тост! *Die Bundespost!*⁸ – прокричал отец, и оба они странно засмеялись под звон хрустала.

⁷ Будем здоровы! (нем.)

Я унесла свою порцию, все еще завернутую в газету, в гостиную и съела перед телевизором. А вскоре отправилась в постель. Я неподвижно лежала с закрытыми глазами, но сон не шел, и я испугалась, что забыла, как это происходит. Я тихонько напевала музыкальную тему из «Детей железной дороги» и представляла, что Уте внизу покоряет фортепиано, пока отец за кухонным столом просматривает газету. Всё и все на своих местах... Я еще не спала, когда отец и Оливер неуверенными шагами поднялись наверх и пожелали друг другу спокойной ночи.

Если они не смеялись, то ссорились. Все окна в доме были открыты, в надежде впустить хоть немного свежего воздуха, и я слышала их крики независимо от того, в какой комнате они находились. Это напоминало собрания Общества, но для двоих. Настоящие собрания прекратились на лето – по-видимому, даже выживальщики брали отпуск. Я старалась не обращать на них внимания, но поймала себя на том, что пытаюсь разобрать каждое слово. Отец кричал громче и первым терял контроль; голос Оливера звучал неторопливо и размеренно, прорываясь сквозь ярость оппонента. Поводы были все те же, и споры шли по кругу: лучшее место для надежного прибежища, преимущества города или деревни, снаряжение, оружие, ножи. Крепче голосов достигало пика, затем хлопала дверь, кто-то, чиркнув спичкой, закурил в саду сигарету, и на следующий день все было по-прежнему.

Однажды вечером я услышала в прихожей какой-то звук и не сразу поняла, что это телефон. Подняв трубку, я услышала на другом конце Уте.

– *Liebchen*, это *Mutti*, – голос звучал издалека. – Прости, что не позвонила раньше. Не получалось.

Я подумала, она имеет в виду, что в Германии мало телефонов.

– Мы с папой жили в саду.

– В саду? Звучит здорово. Значит, ты в порядке, рада, что начались каникулы?

Я испугалась, что она будет расспрашивать про уроки, которые я пропустила, но вместо этого она спросила:

– В Лондоне тепло?

Голос был грустный, как будто ей хотелось быть дома, но потом – наверное, чтобы меня развеселить, – она сказала:

– Вчера вечером толстая дама упала в обморок от жары, на втором такте Чайковского. Пришлось начать заново, вышел полный хаос.

– Я совсем коричневая, – сказала я, соскабливая грязь с ног и понимая, что не мылась с самого приезда Оливера.

– Как же замечательно проводить время на солнце! Я целыми днями в помещении, в машине или в отеле, а потом опять в машине – еду на выступление.

– Хочешь поговорить с папой? – спросила я.

– Нет, не сейчас. Я хочу побольше узнать о том, чем занималась моя маленькая Пегги.

– Я готовила.

– Какая ты хозяйственная! Надеюсь, после этого ты прибралась на кухне?

Я не ответила, не зная, что сказать.

Через несколько секунд она едва слышно проговорила:

– Может быть, ты все-таки позовешь папу?

Я положила трубку на банкетку возле телефона и заметила, что на желтом пластике остались следы от грязной ладони. Я облизнула пальцы и потерла пятна.

Когда я сказала отцу, кто звонит, он спрыгнул с качелей, на которых валялся, и побежал в дом. А я пошла в нижнюю часть сада, где в углях костра, который я сама и разожгла, запекались корни лопуха. Сама не понимая почему, я стала колотить по углям палкой, и они разлетались в сумерках, как светлячки. Некоторые долетели до палатки и прожгли в ней дырки с

⁸ Зд.: За немецкую почту! (нем.)

черной каймой. Когда костер превратился в серое пятно на голой лужайке, я вернулась в дом и поднялась к себе.

В кухне разгорался спор между отцом и Оливером. Затем они переместились в столовую и дальше, в оранжерею. Я высунулась из окна. Свет падал из двери, ведущей в гостиную, и подо мной были две тени. Чтобы ничего не слышать, я заткнула уши пальцами, и черные фигуры превратились в безмолвных танцоров; каждое их движение было продумано, каждый жест отрепетирован. Я стала то приоткрывать уши, то снова затыкать их, так что до меня доносились лишь бессвязные обрывки спора.

– Ты... д...

– ...бил. Что...

– ...ука. Как ты...

– ...жалк...

– ...животн...

– ...баное живо...

Потом раздался смех Оливера, безостановочный и резкий, как пулеметная очередь. Темный предмет – пепельница или цветочный горшок – оторвался от одной из теней и пролетел мимо другой в стеклянную крышу. Повисла пауза, стекло как будто затаило дыхание, а затем задрожало, выгнулось наружу и с жутким грохотом разлетелось на части. Я невольно пригнулась, хотя стекла сыпались на мужчин внизу. Тень отца скрючилась, закрывая руками голову. Оливер завопил «йуу-хуу!», его тень бросилась к гостинной и исчезла внутри. Отцовская тень осталась на месте, и сверху мне казалось, будто это уже не человек с руками, ногами и головой, а ворона с клювом и крыльями. И звуки он издавал как ворона. Вцепившись в подоконник и едва приподнимая голову, я смотрела на отца и в то же время слушала, как Оливер идет через кухню наверх, в свою комнату. Я различала звуки выдвигаемых ящичков, долгий скрежет молнии на чемодане. Затем Оливер ворвался в мою комнату, и я увидела себя его глазами – скрючившуюся в темноте у окна.

– Что, девочка, насмотрелась? – прошипел он. – Нравится следить за взрослыми, да? Я тоже достаточно насмотрелся. На тебя и твоего дорогого папашу. – Он саркастически рассмеялся. – И про чудесную Уте не забудем. Похоже, они оба еще долго будут вспоминать мой подарочек.

Он вышел из комнаты и спустился по лестнице.

На мгновение я застыла, а потом, решив, что он возвращается в разрушенную оранжерею, повернулась и снова выглянула в окно. Но грохнула парадная дверь, отчего весь дом содрогнулся, и воронье тело отца дернулось вниз, как будто попавшись в одну из наших ловушек, а затем обмякло. Я заползла обратно в постель и лежала, таращась в темноту и изо всех сил стараясь различить следующий звук, но его так и не последовало.

Утром меня разбудили три коротких свистка. Отец стоял у подножия лестницы, ноги широко расставлены, голова поднята. На тыльной стороне ладоней у него были приклеены пластыри, и еще один на переносице.

– Собирай рюкзак, Пегги, – сказал он командирским голосом. – Мы отправляемся на каникулы.

– Куда мы поедем? – спросила я, беспокоясь о том, что скажет Уте, когда вернется и обнаружит разбитую крышу и осколки на полу.

– Мы поедем в *лютите*, – ответил отец.

5

Лондон, ноябрь 1985 года

Я согласилась позавтракать за кухонным столом, а не в своей комнате или на полу в оранжерее, где можно было бы спастись от жары и духоты. Мы с Уте провели переговоры, и она обещала не задавать больше вопросов, если я посижу с ней и буду есть кашу ложкой. Я согласилась, потому что лицо отца уже находилось в секретном месте. Я знала, что она все равно будет расспрашивать. Она просто не могла остановиться.

За то время, пока меня не было, кухонный стол съезжился, но все остальное разрослось, и кухня превратилась в самое тревожное место в доме. Мне пришлось вжаться в стул и зажмурить глаза от огромного количества и невыносимого многообразия того, что открывалось взгляду. Ряды банок, в которых не переводились чай, кофе и сахар; более крупные контейнеры, подписанные «Пекарская» и «Обычная»; блендер, покрытый слоем липкой пыли; рулон бумажных полотенец на деревянной палке; высокие стеклянные емкости, выставляющие напоказ нечто под названием «спагетти», все еще в упаковке; сияющий тостер, на который я старалась не смотреть; крючки с висящими на них кружками всевозможных форм и размеров; белый холодильник, ставший разноцветным из-за магнитиков. Я не могла взять в толк, зачем семье из трех человек семь кастрюль, когда конфорок всего четыре; и почему деревянных ложек девять, если кастрюль всего семь; и неужели мы сможем съесть все, что хранится в буфете и в холодильнике.

По субботам Оскар с утра отправлялся на встречу скаутов; сегодня они прибирали территорию вокруг дома престарелых. Я знала, что Уте намеренно выбрала именно это время для завтрака со мной: она считала, что сидеть за одним столом с восьмилетним братом мне еще рановато. Оскар, Оскар, Оскар – мне приходилось повторять его имя, чтобы напоминать себе о его существовании; о том, что восемь лет и восемь месяцев назад он родился и жил с Уте, а я ничего об этом не знала. Он был почти с меня ростом, но все равно очень маленький. Каждый раз, глядя на него, я поражалась, что мне было столько же, когда мы с отцом покинули этот дом. Пока Уте накладывала овсянку, сваренную на воде, как я люблю, я думала о том, научили ли скауты Оскара разжигать костер без спичек, или ловить белок в силки, или быстро и аккуратно опускать топор. Может, у нас как-нибудь и получится поговорить об этом.

Во время еды Уте пыталась вовлечь меня в беседу.

– Ты вспоминаешь то лето? – спросила она. В ее речи все еще слышался немецкий акцент, хотя прошло уже столько лет.

Вопреки обещанию она сразу начала с вопроса. Я пожала плечами.

– Я думала о твоём отце тем летом, когда ты уехала, – сказала она.

Она всегда использовала слово «уехала» – безобидное, без намека на чью-либо вину.

– Наверное, я была для него слишком стара. Слишком спокойна. А он хочет веселиться со своим другом Оливером.

– Хотел... – поправила я едва слышно, но она не обратила внимания; она смотрела сквозь и мимо меня.

– Они вели себя как мальчишки. Слишком сильно раскачивались – я боялась, что качели сломаются; и траву вытаптывали своими ботинками. Качели принадлежали твоей бабушке. Знаешь, ведь *Omi*⁹ отправила их сюда прямо из Германии. А когда им было жарко, они снимали рубашки и носились по саду, дурачились, баловались со шлангом, хотя Водный совет

⁹ Бабушка, бабуля (нем.).

это запрещает. Я наблюдала за ними из твоей комнаты, а потом спускалась и просила быть поаккуратнее с качелями.

Она замолчала, погрузившись в воспоминания.

– Оливер... Он дразнил меня словом *Jawohl*¹⁰. Наверное, тогда это и началось. Да, наверное, тогда.

Я не ждала от Уте откровений, но она все говорила и говорила, как будто это помогало ей избавиться от чувства вины. Я представила себе отца: раскачиваясь на качелях вместе с Оливером Ханнингтоном или вопя от восторга, когда струя воды ударяла по его веснушчатой спине, он и не подозревал, что в это время по фундаменту его семейной жизни расползаются тонкие трещины. Уте сказала, что отцу было наплевать; что он думал лишь о сиюминутных удовольствиях. Но бункер, сохранившийся под кухней, и списки, которые я там нашла, свидетельствовали совсем о другом.

Взгляд Уте снова сфокусировался на мне, на том, как я ем. Она спросила, нравится ли мне овсянка, и я вдруг поняла, что заглываю кашу полными ложками, обжигая язык. Почувствовав скрытый укор, я стала есть медленнее и кивнула. Потом начисто выскребла миску, и она положила мне еще. С момента возвращения я поправилась: грудь целиком заполняла мои новые лифчики, резинка трусов оставляла красную полосу на бедрах и животе, темные впадины под скулами порозовели.

– Какая еда тебе нравилась, пока ты была в отъезде? – спросила Уте в своей жизнерадостной манере.

Интересно, что она хотела узнать про наше меню? Например, проверяла ли я свежесть рыбы, если мне вдруг надоело питаться одними ореховыми кексами? Я хотела ответить: «Мы с Рубеном ели сырое волчье мясо – просто рвали его руками, а потом кровью раскрашивали себе лица», – чтобы увидеть выражение ее лица. Но мне стало лень.

– Мы часто ели бёлок, – сказала я ровным голосом. – И *Kaninchen*¹¹.

– О Пегги! – Она взволнованно потянулась ко мне, но я оказалась быстрее и отодвинулась.

Она спрятала руки под стол и поджала губы.

– Когда ты уехала... – начала она.

– Когда он увез меня, – вставила я.

– Когда он увез тебя... – повторила она. – Когда я поняла, что тебя в самом деле нет, я спустилась в подвал. Ты ведь помнишь подвал?

Я кивнула.

– Вся эта еда на полках, много-много консервов. Я спустилась в подвал, и там все было так, как оставил твой отец, *Natürlich*¹². Упаковки риса, сушеного гороха, фасоли – все покрыто пылью.

Уте как будто повторяла заученную историю, которую часто рассказывала разным людям.

– Я пыталась представить себе, что вы едите, здоровая ли это пища; я боялась, что вы голодаете, где бы вы ни оказались. И вот я беру с полки банки с фасолью, и с персиками, и с сардинами и ставлю их на стол. Этот стол до сих пор внизу, можешь посмотреть, а всю еду я давным-давно выкинула. Такие расходы – и все зря... Из ящика под плитой достаю консервный нож, и вилку, и железную тарелку. И все раскладываю на столе, Пегги, точно так же, как ты это делала, помнишь? Аккуратно ставлю консервы рядом с вилкой и тарелкой и смотрю на них. И тут я заплакала: где ты можешь быть? Вдруг моя дочурка все еще раскладывает вещи из рюкзака, думала я.

¹⁰ Так точно! (нем.)

¹¹ Кролик (нем.).

¹² Конечно (нем.).

Голос ее пресекался, и я оторвала взгляд от своей пустой миски. Ее лицо исказилось, в глазах стояли слезы, и мне показалось, что они были искренними.

– Я плакала, – продолжала Уте, – но так и сидела там внизу, потому что думала: может быть, ты тоже сидишь где-то перед своей куклой и аккуратно сложенной пижамкой. Я открываю фасоль, и персики, и сардины тоже, этим *Schlüssel*¹³, маленьким ключиком. Я уже была беременна, *Natürlich*... – Она остановилась, прикидывая. – На втором месяце, кажется, и мне было очень плохо. Я ем фасоль, и персики, и сардины – все вместе, и плачу, плачу. Я заставляю себя глотать, потому что вдруг у тебя нет той еды, которая тебе нравится. Я ем, пока меня не начинает тошнить.

Я не могла понять, какой реакции она ожидает. Должны ли мы обе заплакать и обняться или она надеется, что я захочу рассказать свою историю? И я просто сидела, снова глядя в миску, возле которой лежала начисто вылизанная ложка. Эта ложка напомнила мне об аккуратных стопках одежды, которую я доставала из своего рюкзака. Мысль о том, что я до сих пор все раскладываю ровными рядами, показалась мне смешной, и я прикрыла рот рукой, чтобы Уте не заметила. Шли минуты, мы обе сидели молча, и даже звяканье посуды не оживляло атмосферу на кухне. В конце концов я сказала:

– Оливер Ханнингтон ел кое-какие продукты из подвала.

Уте подскочила на месте, и ножки стула заскрежетали по полу. Такой реакции я не ожидала, и впервые с тех пор, как я вернулась домой, мы по-настоящему посмотрели друг на друга – я смотрела прямо в ее глаза, а она в мои; мы пытались разобраться друг в друге, словно незнакомцы; впрочем, мы ими и были. Но это продолжалось недолго. Маска снова опустилась на ее лицо, такая же, как у доктора Бернадетт, – спокойная, доброжелательная, напоминавшая каменных ангелов на кладбище.

– В самом деле? – спросила Уте. – Правда? Оливер Ханнингтон?

Ее чрезмерное волнение возбудило мое любопытство, как будто я упустила нечто происходящее прямо у меня под носом.

– Он сказал, что продукты нужно есть и заменять новыми, иначе они испортятся.

– Уверена? Он приезжал к Джеймсу? Когда? – нервно спрашивала она.

У меня зачесалось под правой грудью, когда она произнесла имя отца, и я повела плечом, чтобы избавиться от этого ощущения.

– Как раз перед... Как раз... – Я не закончила.

Мне и в голову не приходило, что она не в курсе. Каждую встречу доктор Бернадетт начинала так: «Все, что вы скажете в этой комнате, в этой комнате и останется». Всегда одна и та же фраза. После каждого сеанса я выходила из кабинета с сухими глазами и видела, как разочарована Уте. Я садилась в кресло в приемной, а она заходила к доктору Бернадетт. Я ждала минут двадцать, и всякий раз, когда Уте выходила, она промокала глаза одним из тех розовых бумажных платков, которые доктор держала наготове на кофейном столике. Я думала, что все рассказанное мной доктор Бернадетт повторяла Уте.

– Был спор, – сказала я. – Оливер спорил с... – Я не знала, как назвать его. – С отцом.

– Оливер, – повторила она. – Из-за чего они спорили?

– Я не разобрала, – сказала я. – Они разбили крышу в оранжерее. А потом мы уехали.

Уте выглядела ошарашенной. Я подумала, что, может быть, произошло чудо и крышу починили до того, как она вернулась, или же меня подвела память.

– Я не знала, почему крыша разбита, – сказала она. – Я подумала, может, соседский мальчик бросил камнем. Полицейские – детективы – не поверили мне. Я уверена, они слушали по телефону: когда я поднимала трубку, то раздавалось «щелк-щелк». – Уте тараторила без остановки. – Через несколько месяцев, когда вас все еще не нашли, они пришли в дом, и они

¹³ Ключ (нем.).

рыли в саду, и сказали, что там свежая земля. Свежая земля! В моем положении у меня нет времени, чтобы копаться в саду. Они нашли – как это по-английски? *Gebeine*¹⁴, кости и мех животных. Я говорю, я не знаю, откуда они там, под землей. Они ходили по кладбищу с палками и собаками. Я кричу на них по-немецки. «*Ich bin schwanger!*»¹⁵ – я кричу. Они говорят мне, что ты сказала директору, что я умерла. Я не понимаю, почему ты так сделала. Я долго-долго плачу, и миссис Кэсс – ты помнишь миссис Кэсс из школы?

Я кивнула.

– Миссис Кэсс приходит ко мне, чтобы убедиться, что я в порядке, позаботиться обо мне. Я волнуюсь о ребенке внутри и что скажут соседи. Очень глупо. Моя девочка и муж пропали, но прошли месяцы, годы, пока они поверили, что я тут ни при чем.

Она была измученная и злая. И я поняла, каково ей тогда пришлось: она плакала, тревожилась, чувствовала себя одинокой, ее подозревали в убийстве, а внутри нее жил Оскар. Но я сидела, сложив руки на коленях, и молчала.

¹⁴ Скелет (нем.).

¹⁵ Я беременна (нем.).

6

Каникулы, обещанные отцом, не были похожи на каникулы. Ни пляжей с песочными замками, ни мороженого, ни катания на осликах; отец сказал, что мы отдохнем, когда доберемся до *хотте*. Тропинка, по которой мы шли, почти полностью заросла кустами, как бы говоря нам: хода нет. Но отцу было все равно. Он пробивался сквозь них при помощи палки, которую подобрал, когда мы сошли с большой дороги. Шагая за ним, я слышала, как крепкая древесина врубается в расступающиеся кусты. У них не было шансов. При каждом ударе с них облаком разлетались листья и мелкие ветки. Я смотрела вниз, стараясь попасть в ритм его шагов, и солнечные лучи опаляли мне позвонки, торчащие у основания шеи. До этого я шла впереди и, задрав голову, видела многослойную зелень и остроконечные холмы, похожие на застывшую карамель. А за холмами, вдвое превосходя их по высоте, угрожающе вздымался грязно-коричневый с белыми прожилками горный хребет. Но сейчас, ступая позади отца, я видела только осевшую на его волосатых ногах пыль, напоминавшую муку, которой Уте посыпала тесто для своего *Apfelkuchen*¹⁶. Выше были шорты, а еще выше рюкзак, такой же высокий и широкий, как отцовская спина. Снизу к рюкзаку была бечевкой привязана палатка. Походные котелки, раскачиваясь, звенели о бутылки с водой, а те, в свою очередь, стучались о кроличьи силки. Стук, звяк, бряк, дзинь; стук, звяк, бряк, дзинь. Я напевала про себя:

Просят все моей руки, о-алайя-бакиа,
Женихов хоть пруд пруди, о-алайя-бакиа.
И отец вчера сказал, о-алайя-бакиа,
Что мне мужа подыскал, о-алайя-бакиа.

Под деревьями было сумрачно и пахло древностью. Этот аромат мгновенно перенес меня в канун Рождества в Лондоне, и я подумала, не из этого ли леса была наша елка. В прошлый сочельник мне разрешили прицепить свечи и самой их зажечь. Уте позволила мне взять какой-нибудь подарок из-под елки, потому что, по ее словам, она сама так делала, когда была маленькой. Я выбрала коробку, отправленную из Германии, и под оберткой обнаружила трубку, которая складывалась внутрь самой себя. Уте объяснила, что это подзорная труба, принадлежавшая моему покойному немецкому дедушке. Видимо, *Omi* разбирает ящики и раздает всякий хлам, фыркнув, сказала она. Я встала на подлокотник дивана и посмотрела в трубу на огромную голову Уте, которая играла на рояле и пела *O Tannenbaum*¹⁷, пока не охрипла. Тогда она сказала, что пора заканчивать, потому что ветки уже опустились и елка в любой момент может вспыхнуть. Мы задули свечи, и я увидела, что ее глаза полны слез. Они не текли по щекам, а скапливались между ресницами, пока не втянулись обратно.

Это воспоминание неожиданно вызвало во мне отчаянную тоску по дому; стало по-настоящему плохо, как будто я чем-то отравилась. Больше всего мне хотелось оказаться в своей комнате и, лежа на кровати, ковырять отклеившиеся обои за изголовьем. Я хотела слышать рояль из гостиной внизу. Я хотела сидеть за кухонным столом, болтать ногами и есть тост с клубничным джемом. Я хотела, чтобы Уте убирала мне со лба длинную челку и укоризненно цокала языком. А потом я вспомнила, что Уте даже не было дома – ведь она играла на чем-то дурацком фортепиано в Германии.

Я перестала думать о Рождестве и вздрогнула при мысли, что до нас здесь не проходил ни один человек. Отец сказал, что это оленья тропа, и я шла как олень – на цыпочках и высоко

¹⁶ Яблочный пирог (нем.).

¹⁷ «О елочка» (нем.).

поднимая колени, так чтобы ни одна веточка не хрустнула под моими раздвоенными копытами. Но оленю не пришлось бы тащить рюкзак, трещавший по швам из-за теплой куртки, которую мне купил отец, хотя для нее было слишком жарко. Я замедлила шаг, а отец продолжал идти в прежнем темпе, так что скоро его фигура могла поместиться между большим и указательным пальцем моей руки. Время от времени он оборачивался, вздыхал, делая укоризненную гримасу, и даже на расстоянии я видела, как он прищуривается, требуя, чтобы я поторопилась. И шел дальше. А что, если сойти с тропинки и спрятаться под деревьями? Какое у него будет выражение лица, когда он обернется, а меня нет? Должно быть, он бросит рюкзак и с криком «Пегги, Пегги!» в панике побежит назад. Мне понравилась эта идея, но краем глаза я заметила, что деревья в лесу растут более плотно, чем на кладбище за нашим садом. С тропинки видны были только первые два-три ряда, а глубже свет не проникал, ни единого проблеска, только стволы, один за другим уходящие в черноту.

– Мы там пропадем, – прошептала из рюкзака Филлис.

Впереди, там, куда шел отец, сияло солнце, и я побежала его догонять, позабыв про деревья, оленей и Рождество. Он остановился на самом краю леса. Перед нами сверкал луг, заросший травой и переходящий в глубокую долину. Такую глубокую, что дна не было видно. Дальше земля снова поднималась – к темным соснам и другим лугам. Огромные холмы, которые я видела раньше, исчезли. Я шагнула к свету, окунаясь в солнечное сияние. Раскинула руки и представила, как качусь вниз по холму, а затем вверх, по другой стороне. Вечно бы так катиться! Я – хладнокровная ящерица, и солнце наполняет меня энергией. Я бросилась было вперед, но отец схватил меня за плечо.

– Нет!

И затащил обратно, в тень.

– Видишь?

Все еще сжимая мое плечо, он указал налево, вдоль края леса. словно мы действительно превратились в оленей и стояли на границе своей территории, сомневаясь, стоит ли рисковать и выходить на открытое место ради свежей травы. На краю луга стояло шесть стогов, высоких и остроконечных, как лохматые вигвамы. Они посерели от времени, забытые после давнего сенокоса.

– Если есть стога, значит, есть и люди, – прошептал отец.

Я не понимала, в чем проблема. Путешествуя по Европе, мы встречали множество людей: французскую даму на пароме через Ла-Манш, которая угостила меня карамельками; мужчину за стойкой в прокате автомобилей, который потрепал меня по щеке; мужчин в комбинезонах на заправках; неопрятных мальчишек, которые брали с нас деньги в кемпингах; девочек-иностранок, которые продавали нам хлеб. Отец старался не общаться с теми, кто говорил по-английски. Он не дал мне поболтать с длинноволосой девочкой, которая сказала, что она из Корнуолла, и дала мне откусить от своего эскимо, пока я ждала отца возле супермаркета в безымянном французском городке.

– Меня зовут Белла, – сообщила она. – Это означает «красивая». А тебя как?

Я как раз старалась побыстрее проглотить холодный кусок, чтобы назвать свое имя, Пегги, когда появился отец и увел меня. А я бы хотела поговорить с ней, сказать, что ее улыбка напоминает мне о Бекки.

Я оглядела луг.

– Какие люди? Где? – спросила я отца.

Вид открывался на много миль вниз, на долину, и вверх, на другую сторону, и всюду была зелень – никаких построек, даже маленького сарая.

– Фермеры, крестьяне... – Отец задумался. – Люди. Придется держаться края леса. Идти дальше, но не так опасно.

– А в чем опасность, папа?

– В людях.

Отец поправил рюкзак и пошел вдоль опушки, не выходя на луг по левую руку от нас. Я поплелась сзади.

Мне хотелось узнать, долго ли еще добираться до *лютте*, приедет ли туда Уте и будем ли мы там есть курицу, а не только рыбу и ягоды. Несколько дней назад мы оставили арендованную машину на окраине какого-то городка и сели в поезд, который повез нас через поля, леса и длинные черные тоннели. Почти все, что я видела, было зеленым и голубым: трава, небо, деревья, реки. Я прижалась лбом к стеклу и перестала фокусировать взгляд. В поезде было жарко и душно. Каждый раз, когда я шевелилась, от сиденья поднимался запах пыли, как от пылесоса, когда Уте вдруг бралась за уборку. За всю поездку не произошло ничего примечательного, если не считать короткой остановки в городе с высокими трубами, из которых валил дым, и с рекламой сигарет на фабричных стенах. В вагоне появился человек в форме, что-то прокричал, кажется, по-немецки, и все стали рыться в сумках и карманах. Отец протянул ему наши паспорта и билеты. Человек заглянул в документы, а затем впился в нас взглядом, так что я непонятно почему почувствовала себя виноватой. Отец посмотрел служащему в глаза и отвел взгляд. Подмигнув, он взъерошил мне волосы и улыбнулся человеку в форме, который вернул документы, не меняя безучастного выражения лица. Под вечер мы сошли в городке, сползающем вниз по холму. Часть домиков застряла на склоне, большинство сгрудилось у подножия, а некоторые едва успели остановиться на краю бурной извилистой реки. Мы разбили лагерь у воды и уснули под ее бормотание, а на следующее утро отец составил список необходимых покупок:

Хлеб
Рис
Сушеная фасоль
Соль
Сыр
Кофе
Пули
Чай
Спички
Сахар
Вино
Шпагат
Веревка
Шампунь
Мыло
Иголки и нитки
Зубная паста
Свечи
Нож

Когда все было куплено и вычеркнуто из списка, отец внезапно решил зайти в хозяйственный магазин, мимо которого мы проходили, – вдруг мы что-то забыли. Подойдя к прилавку, отец достал список, которого я раньше не видела. Мужчина в фартуке приносил то, на что указывал отец, и в конце концов перед нами появились садовая лопатка, множество пакетов с семенами и большой бумажный пакет старого, уже проросшего картофеля. Расплачиваясь, отец не смотрел в мою сторону.

– Что? – спросил он, когда мы вышли на улицу, хотя я молчала. – Это для *Mutti*.

– Она ненавидит садоводство, – ответила я.

– Уверен, мы сумеем ее переубедить.

И он снова, как в поезде, взъерошил мне волосы. Я отшатнулась: меня злила ложь, но я не понимала, где правда.

Днем мы сели в автобус, в котором уже ехали с полдюжины школьников в коротких брючках и женщина с корзиной, накрытой кухонным полотенцем. В автобусе было еще жарче, чем в поезде, и когда он резко поворачивал, из корзины доносились жалобные крики. Когда школьники сошли, отец разрешил мне подойти к женщине. Она нахмурилась и начала говорить; непрерывный поток слов рождался в самой глубине ее горла и скатывался с кончика языка.

– Можно мы с Филлис посмотрим на малыша? – спросила я, четко произнося каждое слово. – Пожалуйста.

Я засунула куклу под мышку, ухватилась за поручень возле сиденья, и женщина подняла полотенце. На дне корзины дрожала полосатая кошка, тощая и плешивая. Я хотела погладить ее по голове, но кошка оскалила зубы, зашипела, и я отдернула руку. Женщина снова заговорила, на этот раз резко и отрывисто. Я смотрела непонимающе, поэтому она пожалала плечами, накрыла кошку и, покачиваясь в такт движению автобуса, отвернулась к окну. Кошка снова завывала.

– Баварцы, – сказал отец, когда я вернулась к нашему сиденью.

– Баварцы, – повторила я, не понимая, что он имеет в виду.

Он достал карту, которую я видела впервые, и повесил ее на спинку сиденья впереди нас. Бумага прохудилась на сгибах, а в центре кусок территории был стерт пальцами и зияла дыра. Мы с Филлис сели рядом, разглядывая карту поверх его руки. Река голубой змейкой извивалась через тусклую зелень, натываясь на паутину тонких линий – как будто кто-то дрожащей рукой пытался нарисовать круги. Река стекала с края карты, а когда отец сложил ее, в верхнем правом углу я заметила маленький красный крестик, обведенный кружком. Он убрал карту, взглянул в окно, затем на свои часы и сказал, что теперь мы пойдем пешком.

Поначалу мы выбирали узкие дороги, пыльные, с полоской травы посередине. Вдали виднелись фермы, но мы встретили только одного человека – старуху в косынке, которая предложила мне чашку молока. Она вела на веревке бурую корову, очень послушную. Чашка была изящная, почти прозрачного фарфора, но без блюдца и с отбитой ручкой – от нее остались только два острых рожка. Зеленая кромка местами вытерлась от сотен губ и зубов, когда-то к ней прикасавшихся. Молоко в чашке было еще теплое и пахло скотным двором. Старуха, корова и отец смотрели, как я поворачиваю чашку, чтобы рожки не мешали мне пить. Молоко плескалось внутри. Я медлила, и лицо отца напряглось, он сжал зубы, так что вздулись желваки. Я подумала: «Если я выпью молоко, папа скажет, что пора возвращаться домой».

Я наклонила чашку, и жирное молоко заполнило мне рот, обволокло зубы и внутреннюю поверхность щек. Корова замычала, как будто подбадривая. Я сделала глоток, но молоко не хотело оставаться во мне. Оно взметнулось обратно, вместе со всем, что я съела до этого. Я успела отступить от обуток в сандалии ног старухи, но мои длинные волосы угодили в фонтан, вырвавшийся у меня изо рта. Уже ночью, в палатке, я дотронулась до спутанных прядей, и от отвратительного запаха у меня скрутило желудок.

Отец снова и снова извинялся перед старухой по-английски, но она не понимала. Она стояла рядом с коровой, плотно сжав губы и вытянув руку. Отец положил несколько иностранных монет в ее заскорузлую ладонь, и мы поспешили прочь. Я и представить себе не могла, что эта женщина, с обветренным морщинистым лицом и мешками под глазами, стоявшая возле амбара с коровой на веревке, будет последним человеком из реального мира, которого я увижу в ближайшие девять лет. Если бы я знала это, то, наверное, ухватилась бы за ее юбку, вцепилась бы в передник, встала бы на колени, обвив руками ее крепкую ногу. Я бы приросла к ней, как моллюск к раковине или как сиамский близнец, так что ей пришлось бы волочить меня с

собой, чтобы подоить корову утром или помешать кашу на плите. Если бы я знала, я бы ни за что ее не отпустила.

7

В начале путешествия я была рада, что мы остались вдвоем. Я совсем забыла об Оливере Ханнингтоне, о ссоре и разбитом потолке оранжереи. Но идти было трудно, я устала, мне наскучили луга и леса, слившиеся в одну бесконечную оленью тропу. Я уже не помнила, две или три ночи прошло с тех пор, как мы вышли из автобуса. Теперь мы брели по холму, по опушке леса, которая спускалась в долину. В животе у меня было пусто, футболка под рюкзаком прилипла к спине. Ноги стали тяжелыми, как две каменные глыбы.

Из рюкзака раздался голос Филлис:

– А существует ли *лютте* на самом деле? Ты думаешь, взаправду в этой *Fluss* столько рыбы, что она сама выпрыгивает из воды – только лови?

– Конечно, – сказала я.

Я вспомнила песню и громко запела, чтобы заглушить голос Филлис. Отец шел впереди, но стал подпевать, звонко, во весь голос:

Я вступить решила в брак, о-алайя-бакиа,
На горе лишь свистнет рак, о-алайя-бакиа,
Если в ясном небе – гром, о-алайя-бакиа,
Накануне похорон, о-алайя-бакиа.

Наконец отец решил, что мы отошли от стогов на безопасное расстояние и можно сделать привал. Мы сели, прислонившись спиной к сосне и выставив ноги на солнце. Я с трудом вытащила Филлис из набитого рюкзака и посадила рядом с собой. Теперь, когда мы немного спустились по склону, я смогла рассмотреть долину. Внизу текла река, извиваясь прямо как на карте и блестя под солнцем на каменных перекатах. По берегам росли кусты и высокая трава, и я подумала, что, должно быть, эта река течет как раз мимо *лютте*. Отец разломил пополам последнюю буханку хлеба, купленную в городе, и нарезал полосками желтый сыр. Сыр был теплый и как будто в испарине, и хотя я проголодалась, он напомнил мне молоко, от которого меня стошнило; однако я решила промолчать, чтобы не портить отцу настроение. Когда он пел, то был счастлив. Отец ел с закрытыми глазами, а я тем временем сделала дырку в мякише и засунула в нее сыр – получилась мышка-альбинос в норке. Потом хлеб с сыром превратились в серую мышку с желтым носом: она побегала вверх-вниз у меня по ноге и уселась на коленке, подергивая усиками. Я поднесла ее к пухлым губкам Филлис, но та есть не стала.

– Пегги, ешь, – сказал отец.

– Филлис, ешь, – прошептала я, но она опять отказалась.

Я взглянула на отца; он все еще сидел с закрытыми глазами. Я отщипнула кусочек корки и сжевала его.

Сделав усилие, отец сказал:

– Спорим, ты не знала, что есть рыбы, которые выпрыгивают из воды?

– Пап, не говори глупостей.

– Завтра я выловлю нам выпрыбы на выпружин, – сказал он и засмеялся собственной шутке.

– А ты научишь меня плавать? Пожалуйста!

– Посмотрим, *Liebchen*.

Он наклонился и неуклюже чмокнул меня в макушку, но и «дорогая», и поцелуй были неправильными. Так делала Уте.

Он вытер рот тыльной стороной ладони.

– Пошли, Пегс. Пора двигаться.

– Мне трудно идти.

– Осталось совсем чуть-чуть.

Он постучал по часам и приставил к глазам руку козырьком, чтобы взглянуть на солнце.

– Сегодня вечером мы разобьем лагерь возле *Fluss*.

Он взвалил рюкзак на спину, громко крикнув каким-то утробным звуком. Он не видел, как я засунула хлеб с нетронутым сыром между корней сосны.

Когда я проснулась на следующее утро, отец был уже на ногах. При пробуждении мне нравилось лежать неподвижно, чтобы ощутить себя в той пустоте между сном и бодрствованием, когда начинаешь осознавать мир вокруг и положение собственного тела. Мои руки были закинута за голову, а спальник я затолкала в угол палатки, потому что ночью было жарко. Посмотрев вверх, я увидела черные точки – мухи бились о конек палатки, пытаюсь выбраться наружу.

– Могли бы вылететь через дырки, которые ты тогда прожгла, – пробормотала Филлис мне на ухо.

Она лежала рядом, впившись твердыми руками мне в плечо. Пижама у меня прилипла к телу, а лоб и затылок были мокрыми от пота. Со времени отъезда из дома я привыкла спать в синем шлеме, несмотря на жару. Это была первая вещь, которую я упаковала, услышав в нашем лондонском доме свисток отца. Шлем и пару варежек связала мне *Omi*, распустив для этого синий свитер, который я носила, когда была маленькая. Бабушка тянула живую волнистую нитку и, произнося немецкие слова, которых я не понимала, объясняла мне, как держать руки, чтобы шерсть правильно наматывалась. Долгое время я думала, что *Omi* – это просто моя бабушка и больше никто. Помню момент, когда я осознала, что она была и еще кем-то: дочерью, женой и (это труднее всего поддавалось пониманию) мамой Уте. Я не могла себе представить, что у Уте есть мама или вообще родственники – она была слишком цельная натура. Уте сказала: *Omi* недовольна тем, что я не знаю немецкого и не могу с ней поговорить.

– Она считает, что это моя вина, – сказала Уте.

– *Eine fremde Sprache ist leichter in der Küche als in der Schule gelernt*, – сказала *Omi*, смазывая пряжу.

– Что она сказала? – спросила я.

Уте вздохнула и закатила глаза:

– Она сказала, нужно было учить тебя немецкому на кухне. Она глупая старуха, у нее уже мозги усохли.

Я посмотрела на *Omi*, сморщенную и коричневую, как грецкий орех. Представила себе ее мозг, усохший и болтающийся внутри черепа.

– На кухне? – не отступалась я.

Уте недовольно фыркнула:

– Она имеет в виду, что я должна была учить тебя языку дома, пока ты была еще маленькая. Но это не ее дело, и хорошо, что ты не знаешь немецкого. *Omi* часто рассказывает небылицы, и поскольку ты не понимаешь ее, то не понимаешь и ее сказок. Я говорила ей, что она слишком много выдумывает.

Уте широко улыбнулась *Omi*, но пожилая дама нахмурилась, и я подумала, что она, возможно, не так глупа, как считает Уте.

Мне нравилось наблюдать за лицом *Omi*, когда она разговаривала со мной во время работы. Иногда ее взгляд становился мечтательным, и шерстяная нить безвольно провисала. Потом какая-нибудь история приводила ее в волнение, и она начинала повторять одну и ту же фразу, пристально глядя мне в глаза, как будто благодаря этому я могла ее понять. Если рядом оказывалась Уте, я умоляла ее перевести, страстно желая понять, что же казалось бабушке таким важным. Но Уте лишь закатывала глаза: мол, *Omi* всего лишь советует мне не доверять

незнакомцам в лесу, всегда иметь запас хлебных крошек в кармане передника и держаться подальше от волчьих зубов.

– *Ja*¹⁸, держись подальше от волка, – неуверенно повторяла *Omi* по-английски, и у меня волосы шевелились от подобного предостережения.

Бабушка пошире раздвигала мои руки – так нитка наматывалась быстро и туго, оставляя на тыльной стороне ладоней красные полосы. Свитер исчез, съеденный клубком шерсти, который совсем растолстел от своей синей пищи, и *Omi* связала из него шлем: когда я его натягивала, виднелись только нос, рот и глаза. Сверху бабушка приделала два маленьких черных уха и вышила усы, расходящиеся тремя лучами с каждой стороны.

Я подползла к краю палатки и высунула голову. Синяя шерсть приглушала звуки внешнего мира. Отец стоял на четвереньках и беззвучно, словно в немом кино, раздувал угли. Я вылезла наружу, представляя себя лесным зверем, и наблюдала, как он набирает воду в котелок; появились первые языки пламени, и он поставил котелок в середину костра. Под моим коленом хрустнула ветка, но он не обернулся. Я была оленем, мышью, беззвучной птицей, я подкрадывалась к охотнику, чтобы отомстить ему. Я бросилась ему на спину и вцепилась когтями в шею. Отец не дрогнул.

– Что хочешь на завтрак, малявка? – спросил он. – Тушенку, тушенку или тушенку?

– Я не малявка, – ответила я, сползая с его спины. Мой голос звучал как будто из-под воды.

– И кто же ты сегодня?

Отец уселся на бревно, которое он еще вчера положил возле костра, и приподнял крышку с другого котелка. Выловил из него что-то пальцем – насекомое или кусочек листа – и выбросил в траву. Помешал мясо и поставил котелок рядом с водой.

– Спящая Красавица? – спросил он и обернулся ко мне. – Синяя Шапочка?

Я подседа к нему и потыкала палкой в костер. Он за ушки стянул с меня шлем и отбросил его назад, к палатке.

– Рапунцель! – воскликнул он. – Рапунцель, Рапунцель, распусти волосы!

Он внезапно повысил голос, как будто прибавили звук. В деревьях зашумели птицы и ветер, и стала слышна река, ее непрерывное бормотание, как будто вдалеке собралась большая толпа.

Даже без шлема мои волосы представляли собой жуткий наэлектризованный узел. Отец запустил в них пятерню и попытался распутать, но это было бесполезно.

– Не могу поверить, что ты забыла расческу.

Уже на протяжении нескольких недель он каждое утро произносил эту фразу, и я мгновенно насторожилась, уловив, как изменился его голос.

– Черт, – продолжал он, – почему мы просто не купили новую?

– Пап, не страшно. Смотри, я сама справлюсь.

Я провела пальцами по спутанным волосам и прижала их к голове. Было понятно, что лучше от этого не стало. Я широко раскрыла глаза, стараясь выглядеть как можно привлекательнее.

– Видишь, расческа не нужна.

– Ладно, как-нибудь обойдемся.

Было непохоже, что я его убедила.

Я расслабилась и выдохнула. Отец помешал мясо и выложил его на тарелки. В котелок с водой он бросил щепотку листьев из жестяной коробочки, помешал, пока вода не стала корич-

¹⁸ Да (нем.).

невой, и разлил чай по кружкам. Молока у нас не было, и мы пили чай без него, уставившись в огонь и погружившись в свои мысли.

Река была вовсе не голубая, как рисуют на карте; она была словно серебристая лента, прoderнутая сквозь зеленое покрывало. Отец стоял на камешках у самой кромки, носки его ботинок касались воды. Заслонившись от солнца, он осматривал реку вверх и вниз по течению, выискивая лучшее место для рыбалки. Я стояла рядом, ростом вдвое меньше него, тоже заслонив глаза и глядя на реку. Я пыталась скрыть разочарование. И не осмеливалась спросить, куда подевалась вся рыба и почему отец должен использовать удочку, вместо того чтобы хватать форель голыми руками. Он посмотрел через плечо на стоявшие сзади деревья; я тоже посмотрела через плечо. Однажды в Лондоне, когда мы сидели вечером у костра, он рассказывал, как ездил со своим отцом на рыбалку в Гэмпшир. По его словам, вода была настолько прозрачная, что они видели меловое дно и рыб, замерших с открытым ртом посреди течения. Я представила себе тогда белые палочки школьного мела, плывущие в чистой воде под форелью, но сейчас эта картинка казалась такой же невероятной, как летающие звери. Отец сказал, что, прежде чем закидывать удочку, нужно обязательно посмотреть назад: в той поездке, когда он пробрасывал снасть через плечо, крючок впился в бровь его отца. Острие вошло над глазом и вышло через складку в веке. Отец рассказывал, что дедушка прижал ладонь к лицу и сильно ругался, однако крючок не двигался ни вперед, ни назад; тогда дедушка велел его раскусить, но отец, который отвечал за снаряжение, обнаружил, что забыл взять кусачки. И дедушка заставил отца разрезать ему веко ножом для разделки рыбы – так крючок был вынут.

На берегу отец распаковал удочку и начал ее собирать. Я некоторое время понаблюдала, но дело шло так медленно – надо было протянуть леску через кольца, привязать искусственную муху, прикрепить катушку, – что мне стало скучно. Я прошла вверх по течению и, присев у воды, стала переворачивать камни и наблюдать, как всякие маленькие создания спасаются от меня бегством.

Отец насвистывал знакомую мелодию – дома я часто под нее засыпала. Я уловила мотив и стала подпевать; прищурившись, я смотрела на отца. Он стоял против солнца, у самой воды, и как будто управлял ею, приказывал течь. Леска, отмотанная с катушки, свободными петлями лежала у его ног. В ритм мелодии он взмахнул удилицем над головой, оглянувшись, чтобы видеть, как наживка проносится у него за спиной. Затем дернул удочку вперед, и леска, расправляясь, понеслась по направляющим вверх, к центру солнечного диска. Подняв голову, я проследила взглядом, как она прочерчивает дугу в голубом небе. Едва крючок коснулся воды, отец дернул удочку вверх, назад и снова вперед, так что леска с наживкой грациозно пролетели еще дальше. Он повторил все снова, и вот уже наживка упала на середину реки и поплыла по течению.

Он продолжал забрасывать удочку – назад, вперед; все его тело совершало плавные, гипнотизирующие движения, удилице стало продолжением его руки. Я прошла выше по течению, и звук лески, рассекающей воздух, казался оттуда птичьим свистом. Здесь берег был ниже, источенный половодьем. Я развязала шнурки и сняла ботинки. Отец купил их мне в начале лета. Мальчишеские ботинки, темно-синие с белой полоской, и на каждом заднике нарисована прыгающая кошка. Я сняла носки и засунула их в ботинки.

В середине реки вода текла быстро, но там, где стояла я, она мягко откатывалась от берега, оставляя полоску ила. Я сошла с травы в коричневую грязь, которая просачивалась между пальцами и остужала мою кровь.

Краем глаза я видела, что отец снова забрасывает удочку. День был жарким, вода так и манила; конечно, отец еще не научил меня плавать, но зайти по колено вполне было можно. Прыгая сначала на одной ноге, потом на другой, попутно вымазавшись в глине, я сняла штаны. Теперь они испачкались еще и изнутри, но я бросила их на берегу и сделала шаг в воду. Когда

я босыми ногами наступила на камни, от холода и боли у меня перехватило дыхание. Я стояла по колено в воде, грязь клубилась вокруг, а течение тянуло меня за собой. Я никогда еще не заходила на такую глубину; но отец ничего не замечал.

Я перестала надеяться, что он обернется и увидит меня; искусственная муха полностью завладела его вниманием. Я вышла из воды и села на траву, ощупала занемевшие ноги, покрытые теперь серой слоновьей кожей. Это было нечестно: самое теплое существо в мире сидит возле самой холодной речки и не умеет плавать. Я хотела попросить отца научить меня плавать прямо сейчас, но передумала. А он все забрасывал – вверх, назад, вперед, вверх, назад, вперед, вверх, назад, вперед, – пока наживка не ложилась на воду. Вдруг леска натянулась, он испустил долгое низкое «у-у-у-у!» и начал тянуть. Меня окатило жаром, когда я увидела, как много значит для него эта рыба. Если бы я тонула и он поймал бы меня на удочку, то был бы разочарован. Я еще немного посмотрела на его борьбу с рыбой; чтобы удочка сгибалась не слишком сильно, он тащил ее потихоньку, чуть отпуская и подтаскивая снова. Пока уставшая и покорная форель волочилась по мелководью, я ушла в лес и уселась среди высокой травы.

– Рапунцель! Рапунцель! *Einer kleiner*¹⁹ выпрыба! – закричал отец, как будто выиграл чемпионат.

Я была точно в кино и наблюдала за всем происходящим на большом экране. Что произойдет дальше? Когда герой поймет, что героиня исчезла? Отец вытащил крючок у рыбы изо рта и бросил ее на землю. Подобрал тяжелый камень и, высоко подняв руку, нацелился форели в голову. В ожидании удара я зажмурилась, но не отвернулась. Прежде чем опустить камень, отец оглянулся: я подумала – в поисках меня. Я ощутила горечь; мне хотелось и чтобы рыба была прикончена, и чтобы отец встревожился, не найдя меня на берегу. Он выпрямился, бросив камень возле рыбы. Сквозь траву я видела, как она бьет хвостом и тонет в летнем воздухе. Отец подошел к моей разбросанной одежде и поднял штаны. Заглянул под них, как будто я могла там спрятаться. Я зажала рот рукой, чтобы подавить смех.

Я видела, как его губы сложились во что-то похожее на «твою мать». Затем, озираясь вокруг, он крикнул: «Пегги? Пегги!»

Я не откликнулась, замерев как лесной зверь, как тень.

Отец собрал мою одежду и прижал к груди. Грязные штаны оставили коричневую полосу у него на рубашке; он положил вещи обратно на землю и в полном отчаянии стал оглядывать реку.

«Пегги!» – крикнул он снова и вошел в воду, даже не разувшись. Я вздрогнула, представив, как холодно ему стало. Он прошел вперед, так что вода поднялась ему до пояса, и заглянул за кусты, которые свешивались над водой. Я заволновалась, представив его промокшие ботинки и шорты: как же он потом разозлится из-за этого! Теперь я сидела тихо не потому, что решила спрятаться, а потому, что была вынуждена прятаться. Он стоял в воде на том самом месте, где я стояла десять минут назад, и осматривал берег вверх по течению, заслонившись от солнца рукой. Затем повернулся в противоположную сторону, приложил руку ко рту и с неподдельной тревогой в голосе прокричал: «Пегги? Пегги!» – а потом: «Черт!»

Я посмотрела туда же, куда и он, но не увидела ничего, кроме случайных всплесков и подрагивающих теней от веток и облаков. Он вернулся на берег и немного пробежал против течения, затем бросился назад, все время глядя на воду. Он напоминал лабрадора, которому кинули палку на середину пруда, и он медлит, прежде чем решиться и прыгнуть в воду. Неуклюже подпрыгивая и спотыкаясь, отец стащил с себя ботинки и шорты, которые приобрели более темный оттенок синего; рывком снял через голову рубашку и бросил всю эту одежду поверх моей. По сравнению с руками и ногами его тело оказалось поразительно бледным, как будто на нем была майка телесного цвета. Чуть поколебавшись, он вошел в воду – словно пере-

¹⁹ Одна маленькая (нем.).

думал нырять на мелководье. Я жутко испугалась; испугалась, что он нырнет и не вынырнет. И тогда уже мне придется бегать взад и вперед по берегу и звать его. Я бы не знала, что делать, куда бежать за помощью, как вернуться домой. Я бы не смогла ни плавать, ни ловить рыбу, ни добывать еду. Я представляла себе все это, продолжая смотреть на него. Возможно, мне бы пришлось долгие годы бродить по лесу в одиночестве. И одной спать в палатке – это если я сумею ее поставить; а по ночам раздаются всякие шорохи и завывания, шныряют какие-то зверьки. И лес что-то скрывает. При этой мысли я резко повернулась, продолжая прятаться среди высокой травы, и посмотрела назад: там были только деревья и темнота.

– Пегги! – снова крикнул отец.

– Я не Пегги, – ответила я.

Он замер, стоя по пояс в воде. Казалось, он не верит собственным ушам. Он повернул голову в одну сторону, потом в другую, пытаюсь разобраться, откуда донесся голос. Потом побрел к берегу.

Я повторила, на этот раз громче:

– Меня зовут Рапунцель.

Отец посмотрел туда, где я сидела, и бросился вперед, едва не споткнувшись от волнения. Он склонился ко мне, его лицо, только что белое, а теперь ставшее красным, оказалось прямо передо мной. Он схватил меня за плечи, запустив пальцы куда-то между костями. И начал меня трясти.

– Никогда, никогда больше так не делай! – орал он мне прямо в лицо. – Всегда оставайся там, где я могу тебя видеть. Поняла?

Тело и голова дергались у меня в противоположных направлениях. От боли и ужаса выступили слезы, и я подумала, не сломается ли у меня шея.

Трусы у него были насквозь мокрые, и струйки воды текли по ногам. Он отпустил мои плечи, схватил за запястье и заставил встать на ноги. Мой отец был высоким мужчиной. Он задрал мою руку так высоко, что мне пришлось встать на цыпочки. Я начала плакать – сначала потихоньку, потом все громче и громче. Босиком, перепрыгивая через ветки и камни, он подтащил меня к куче нашей одежды и сгреб ее свободной рукой. Затем поволок меня, орущую благим матом, к рыбе, которая все еще изредка шевелила хвостом. Он подобрал камень и поднял его над моей головой. На фоне яркого солнца камень казался приближающимся метеоритом. Он с размаху опустил его. Я пыталась освободиться, но отец лишь сильнее сжимал мою руку. Брыкаясь, я задела форель босой ногой, и она шлепнулась на мои штаны. Камень пронесся в паре сантиметров от моего лица и размозжил рыбе голову. Отец отпустил меня и швырнул камень в реку.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.